



Роман Сенчин

Иджим (сборник)

«ЭКСМО»

2010

УДК 82-3
ББК 84(2Рос-Рус)6-4

Сенчин Р. В.

Иджим (сборник) / Р. В. Сенчин — «Эксмо», 2010

ISBN 978-5-699-41760-5

«Иджим» – новая книга рассказов Романа Сенчина, финалиста премии «Букер-2009», блестящего стилиста, хорошо известного читателям литературных журналов «Новый мир», «Знамя», «Дружба народов», «Октябрь» и других. Сенчин обладает удивительным и редким по нынешним временам даром рассказчика. Интонация, на которой он говорит с читателем о простых, не примечательных ничем вещах и событиях, подкупает искренностью и бесхитростностью. Как будто Сенчин живет и пишет не в эпоху пафоса и гламура, а творит где-то рядом с Чеховым, и каждое его слово, и каждый взгляд нацелен прямо в суть вещей. Написанная в лучших традициях русского рассказа, эта книга станет вашим спутником и советчиком. Утешителем в печали и другом в дороге. Куда бы ни вел ваш путь, она сделает его прямее и легче.

УДК 82-3

ББК 84(2Рос-Рус)6-4

ISBN 978-5-699-41760-5

© Сенчин Р. В., 2010
© Эксмо, 2010

Содержание

Алексеев – счастливый человек	5
Мы идем в гости	19
Мелочи	37
Конец ознакомительного фрагмента.	47

Роман Сенчин

Иджим

(сборник)

Алексеев – счастливый человек

– Раз, два, три, ч-четыре. Раз, два, три, ч-четыре…

Илья Павлович Алексеев положил гантели на край коврика, помахал руками, глубоко выдохнул. Смачно потянулся, похрустел суставами. Затем стал приседать, сомкнув кисти рук на затылке.

– Раз, два, три, ч-четыре. Раз, два, три, ч-четыре…

В окно смотрит свежее, слепящее солнце, на кухне готовит завтрак жена. Проигрыватель крутит пластинку «Спейс», под музыку которой Илья Павлович каждое утро делает зарядку, набирается бодрости. Но немного и грустновато, как обычно бывает осенью. Вот скоро солнца не будет в окне – с каждым днем оно все ленивее выползает на небо, все короче его путь с востока на запад. Впереди долгая и неживая зима, но потом, после нее обязательно вернется весна, снова зацветет земля яркой зеленью, загомонят воробы на тополях во дворе.

– Ребятки, – позвала жена, – почти готово!

– Да-да! – Илья Павлович поднялся с коврика.

Он еще немного попрыгал, помахивая руками, расслабляя и собирая тело, чувствуя, как налились силой мышцы. Наконец шумно дыхнул и успокоился. Снял с проигрывателя пластинку, спрятал в конверт. Гантели закатил под диван, свернул и убрал в шифоньер коврик. Взглянул на часы: без пятнадцати восемь.

Наскоро сполоснулся под душем холодной водой, растер спину и грудь полотенцем. Побрился, прыснул на лицо одеколона. Оделся в отутюженный, свежий костюм.

Жена и сын уже завтракали. Кухонное радио-коптилка невнятно бубнило о чем-то, создавало атмосферу уюта.

– Садись, я тебе вот положила, чтоб остывали. Да уж, наверное, холодные совсем…

– У, пельмешки! – Илья Павлович опустился на табурет напротив жены, положил на колени чистую салфетку. – Когда ты успела?

Ели, как всегда, основательно, чтоб голод не мучил в течение дня. Но сын, сегодня вялый и молчаливый, отодвинул тарелку с несколькими пельменями, в три глотка выпил чай со сливками, встал из-за стола.

– Спасибо…

– Ты чего такой? – удивился Илья Павлович. – Случилось что?

– Да нет, – замялся сын Виктор, потом сказал: – Это, у Ирки Чепурновой день рождения сегодня. Собирают на подарок…

– Сколько?

– По пятьдесят.

– Гм… – Илья Павлович вытер салфеткой губы. – Это что за подарок такой? «Вольву» ей купить собираешься?

– Ну, что-нибудь, я не знаю… Торты еще, чаепитие…

Алексеев посмотрел на жену.

– Как, мама Таня, выделим?

Решили выделить. Виктор повеселел, сел обратно за стол, торопливо доел пельмени.

– Не опаздай, сынок, уже восемь, – сказала мать. – После уроков сразу домой, я талон взяла к стоматологу на три часа. Сходим проверим твои зубы.

– У меня же не болит.

– Все равно надо, чтобы посмотрели. Ты можешь не замечать, а потом поздно будет – зуба лишишься.

– Да ну… – поморщился Виктор.

Илья Павлович осадил сына:

– Хорош, хорош. Предупредить всегда легче, чем лечить. – И уже мягче, жене: – Н-ну, спасибо, Танюша! – Встал, поцеловал ее в щеку. – Надо бежать.

– Я сегодня дома останусь, здесь почитаю спокойно. Договорилась, в редакцию не пойду.

– Хорошо. Я тебе звякну, если что…

Улица кипела спешащими людьми, беспокойными колоннами автомобилей. Общая суета подхватила Илью Павловича, и он, все убыстряя шаг, направился к троллейбусной остановке. Приятное, погожее осеннее утро, солнце на чистом небе лишь в первый момент, как вышел из подъезда, отозвались в его сердце тихой волной радости, и тут же ее накрыли дела предстоящего дня, лица озабоченных пешеходов… Илья Павлович втиснулся в плотную стенку из спин, надавил.

– Уплотнимся, товарищи. Так-так!.. Спасибо.

Дверцы с шипением сомкнулись, троллейбус тронулся. Пассажиры были молчаливы и напряженны, смотрели в окна, на одежду соседей, избегая встречаться глазами.

По салону, бойко работая локтями, словно гребла веслами, пробивалась кондукторша. Покряхтывала от напряжения, объяляла:

– За проезд рассчитываемся, пожалуйста! Рассчитываемся…

– У меня проездной, – сказал Илья Павлович, когда кондукторша добралась до него.

– Покажите.

Ему пришлось кое-как вытаскивать из внутреннего кармана куртки проездной в жесткой пластиковой оправе.

До места работы семь остановок. Троллейбус то пустел наполовину, то опять набивался до отказа. Илья Павлович заранее стал протискиваться к выходу. Его остановила у дверей кондукторша:

– Вы рассчитались, молодой человек?

– Я уже показывал вам проездной.

– Да? Ну ладно…

Алексеев сошел с троллейбуса, оправился. Перед ним двенадцатиэтажное здание областного телецентра. Здесь он и работает кинооператором.

– Здравствуйте, – кивнул вахтеру в нижнем фойе, мельком показал пропуск.

Взбежал по лестнице на четвертый этаж. Там сидел другой вахтер. Ему пропуск не нужен, он знает сотрудников в лицо.

– Из наших кто есть? – спросил Илья Павлович.

– Еще нету. – Вахтер подал ключ.

В кандайке операторов пусто. Застоявшийся запах сигаретного дыма. Илья Павлович снял куртку, кепку, причесался. Приоткрыл форточку. Включил телевизор, сел в кресло.

Вскоре стали подтягиваться остальные. Здоровались, вяло переговаривались, курили. Потом принялись доставать из шкафов камеры, осматривали их, проверяли батареи. Потом секретарь принесла план работы на день. Илье Павловичу сегодня досталось быть дежурным. Значит, сидеть здесь, по срочному сообщению выезжать на съемку. У других – командировки по области, освещение заседания городского совета, открытие математической олимпиады в Педагогическом университете…

– Повезло, Илья, – завистливо сказал один из операторов, Петренин, – а мне весь день парься, депутатов с их речами снимай.

– Завтра меня к ним отправят.

Петренин хмыкнул:

– Тоже верно.

В кандейке происходили сборы:

– Ребята, кому я вчера микрофон давал?

– А село Соловьево, это где?

– О-о, парнишка, за полями оно, за лесами. Далеко-далеко…

– Что, серьезно?

– Да брешет он. Километров сорок, не больше.

– Черт, да где ж микрофон-то?!

Постепенно расходились, сопровождаемые оруженосцами-осветителями.

Оставшись один, Илья Павлович занялся просмотром старых репортажей, предназначенные для затирки новыми. Ничего интересного, что можно пощадить. Отрывки с очередного премьерного спектакля в драматическом театре, интервью с главным режиссером, актерами, зрителями; рядовой гаишный рейд на дорогах; съемки на птицеводческой ферме, у которой была круглая дата… В конце концов Алексеев выключил видеомагнитофон и телевизор, вышел, замкнул кандейку. Отдал ключ вахтеру, предупредил, что он в буфете.

В просторном, уютно отделанном зале одиноко сидел журналист Давыдин, читал и правил какую-то рукопись, изредка отпивал из чашки. Илья Павлович купил себе кофе, подсел к нему.

– Над чем кумекаешь?

– Да вот, – Давыдин оторвался от бумаг, взялся за чашку, – решил фильм короткометражный заснять.

– У-у… – спокойно удивился Илья Павлович. – И о чем?

– Это… это по Федору Сологубу, – заторопился Давыдин. – За основу взят рассказ «Свет и тени». Не читал? Ну и из других рассказов отдельные сценки. Фильм минут на двадцать пять – тридцать. – И журналист добавил заверительно: – И малобюджетный!

Илья Павлович пожевал губы:

– Гм… Дело непростое.

– Непростое. Но выполнимое… Там сюжет такой. Рассказать? Живет, в общем, мальчик, хороший, прилежный мальчик Володя. У него мама, они друг друга любят, то есть дружеские такие отношения. Все хорошо. И мальчик вдруг находит журнал, где есть картинки теней. Ну, руками делают такие, – Давыдин что-то попытался изобразить, сплетя пальцы, – и на стене силуэты всякие. Ну, понимаешь, надеюсь, да?

Илья Павлович кивнул, но ему стало уже скучно и неприятно слушать, к тому же он догадывался, куда клонит Давыдин.

– …И вот заражается наш Володя тенями. Тайком, вместо того, чтобы делать уроки, все пытается копировать из книжки тени. Мама застает его за этим раз, другой… – Журналист рассказывал все быстрее, увлекаясь, захлебываясь, даже про кофе забыл. – Она замечает, что с сыном что-то не то, какой-то он стал странный. Ведет его к врачу…

Буфетчица, наскучив бездельем, вышла в зал, принялась протирать и без того чистые столы, проверять, хорошо ли заправлены солонки, горчичницы; салфетки в вазочках даже, кажется, пересчитывала.

– …А действие происходит в конце прошлого века, и такие есть сценки… мистика, виртуальность самая настоящая! Как тени живут своей жизнью, следят за людьми, готовятся их поглотить… У Володи видения…

Слушать, как тараторит Давыдин, стало совсем невмочь. Илья Павлович ругал себя, что дал ему повод разговориться. Наконец не выдержал, перебил:

– Заманчиво, конечно, но дело все-таки непростое. В наших условиях...

Давыдина он и раньше считал чудаком – вечно тот носился с какими-то оригинальными проектами, пытался найти единомышленников среди сослуживцев, но такое – чтобы снять художественный фильм... Это уж просто ни в какие рамки, как говорится.

– Да можно, Павлыч, можно! – не согласился Давыдин. – Во-первых, сценарий готов, все выверено, просчитано. Время, раскадровка, декорации... Во-вторых, я договорился уже с актерами из театра, с Согоновской – она мать будет играть – и еще там с несколькими на другие роли. Все согласны, бесплатно, причем еще и рады попробовать. Детей подобрал во Дворце творчества. На роль Володи парнишка есть гениальный просто! Это насчет актеров. Теперь – костюмы...

– Ну, это все ладно. А сами съемки? На что хотя бы снимать собираешься?

– Да хоть на бэтакам! Сейчас масса фильмов, особенно эти сериалы, они все на бэтакам идут. Качество приличное. И монтировать на нашей аппаратуре запросто можно, озвучить... – Давыдин шумно вздохнул, а потом, не меняя тона, такой же увлеченной скороговоркой выпалил: – Давай, Илья Павлович, подключайся! А? Ты оператор отличнейший, лучший у нас. Давай, Павлыч!

Алексеев усмехнулся:

– Интер-ресно, конечно... А начальнички наши как?

– Что... начальники... – Журналист поморщился, на секунду как будто поблек и подостыл, а потом продолжил по-прежнему быстро, возбужденно: – Сами всё сделаем!.. С ними переговоры вести – начнется: «Да вы что!.. А это как? Вряд ли получится... Лучше не надо...» Сами снимем. А если, – Давыдин понизил голос, глаза его округлились, – а если получится! Представь, Павлыч! Можно же так развернуть это дело! Ух... Можно свою студию открыть, в фестивалях участвовать...

– Мда... – Илья Павлович допил кофе, поднялся. – Заманчиво.

– Действительно? Ну как ты, подключаешься?

– Можно, конечно, – раздумчиво-уклончиво протянул Алексеев. – Взвесить все надо, подготовить...

– Да уже взвешено! – И словно в подтверждение Давыдин схватил и покачал пачкой бумаг. – Вот сценарий, все-все готово... Даже партии старинные в тридцать первой школе на складе нашел!.. Все, теперь только осталось отснять... Почитай, Павлыч, а?

Алексеев замялся, потом принял исчерканную, затасканную рукопись.

– Почитаю, завтра верну.

– Да-да, – кивал Давыдин, с надеждой глядя на оператора.

Маша Скворцова из молодежной редакции, ведущая программы «Рост», была единственным человеком, по-настоящему доставляющим Илье Павловичу неприятности. Точнее – проблемы. Вот уже больше чем полгода Скворцова преследовала его. Началось с восьмого марта, на банкетике, посвященном Женскому дню. Илья Павлович, видя, как Маша одинока, грустна, решил сделать ей приятное, поухаживать. Танцевал с ней, наливал ей вино, следил за ее тарелкой. И надо ж было, чтобы Маша приняла это всерьез...

Нельзя сказать, что она совсем несимпатична и непривлекательна. Стойная, довольно высокая, молодая, но почему-то не пользующаяся вниманием у мужчин. Что-то есть в ней неуловимое, необъяснимое, что отталкивает людей. Не во внешности, не в характере, не в поведении, но в то же время, кажется, и в том, и в другом, и в третьем...

– Здравствуйте, Илья Павлович, – сказала Маша и остановилась.

Илье Павловичу тоже пришлось остановиться.

– Здравствуй, Мария Скворцова, – шутливым тоном постарался ответить он. – Как творческие и личные успехи?

Они стояли в узком полутемном коридоре. Справа и слева в стенах – двери различных отделов, комнат редакторов, корректоров. А дальше по коридору открывается светлый холл с теплолюбивыми растениями в кадках и большим, от потолка до пола, окном. Удобные кресла, урна для окурков, столик с журналами. Там как раз собирался посидеть Алексеев, отдохнуть после разговора с Давыдиным.

– Хорошо, Илья Павлович, спасибо… Все, в общем-то, хорошо, – скрыто-нервным голосом отвечала Маша. – Вот сегодня с утра смонтировали передачу. Все идет. А у вас как?

– Так, – пожал плечами Илья Павлович, – болтаюсь без дела. Дежурным сегодня.

– А что это у вас? – чтобы продолжить разговор, кивнула Маша на свернутую в трубочку рукопись у него в руке.

– Да Давыдин дал почитать. Сценарий. Хм… Задумал он снимать, понимаешь, фильм художественный. Меня подбивает оператором быть у него.

– Угу-угу, слышала что-то про эту идею, – сказала Маша. – Интересно, что получится.

– Как сказать… вряд ли… Ну ладно, Мария Скворцова. Пойду почитаю! – Алексеев улыбнулся на прощанье, хотел было идти дальше, но Маша тихо и жалобно попросила:

– Мне надо… надо очень поговорить с вами, Илья Павлович. Можно? Пожалуйста…

– О чем? – испугался он. В голове мелькнуло: «Вот, черт, одно за одним. Остался на свою голову в родном телецентре!»

Маша как-то по-воровски глянула налево, направо, кивнула в сторону холла:

– Давайте туда, там сядем спокойно.

Илья Павлович первым пошел по коридору. Настроение испортилось окончательно. На плечи надавило что-то тяжелое, гнуло его, мяло. Стучавшие по паркету каблуки Машиных туфель иглами кололи уши… Сначала идиот Давыдин, теперь вот эта проходу не дает…

Опустились в мягкие большие кресла, в которых невозможно сидеть иначе как развалившись, откинувшись на спинку. Маша достала тонкую сигарету, закурила, уставилась на стенд с расписанием эфира на текущий месяц.

– Гм, – кашлянул Илья Павлович. – И о чем же…

Маша как будто только ждала его слов, сразу быстро начала:

– Мне надо сказать вам. Я давно собиралась, но все не могла решиться. Это тяжело, вы понимаете… Я пыталась бороться, я даже себе боялась признаться, да и сейчас… Сейчас тем более. – Она несколько раз подряд затянулась, не успевая выпускать дым, бросила сигарету с искусственным фильтром в урну. – Илья Павлович, пожалуйста, скажите мне, скажите грусть какую-нибудь, что-нибудь плохое скажите. Пожалуйста! Я вас… нет, это нельзя, нет…

И так же резко, как начала, замолчала, по-прежнему пристально, но слепо глядела на стенд.

«Вот так вот», – крякнул про себя Илья Павлович и поднялся.

– Куда вы? – умоляюще всхлипнула Маша.

– Извините, дела.

– Что мне делать, Илья Павлович?

– Н-не знаю. Я ни в чем не виноват. У меня… у меня семья, растет сын. – Ему стало стыдно за эти слова, за саму ситуацию, и уже зло он закончил: – Прошу вас оставить меня в покое. Ясно?

– Спасибо, – снова всхлипнула Маша, теперь благодарно.

Алексеев торопливо дошел до вахты, забрал ключ, укрылся в кандейке. До конца рабочего дня еще пять с лишним часов… Если она явится сюда – действительно, отматерить, чтоб волосы дыбом встали. Что это еще за дела? Дикость какая-то!.. Илья Павлович ходил из угла в угол по тесной кандейке, возмущенно сопел, прислушивался к шагам по коридору… Девчонка,

дура... Нашла к кому клеиться... Он посмотрел в зеркало на стене, инстинктивно поправил чуть сбившийся галстук, пригладил волосы. Хм... Да, и не скажешь, что сорок пять почти. Моложавый, опрятный. Мужчина, как говорится, в расцвете лет.

В кандейку ввалился Петренин, за ним осветитель Саша Германов.

– Ох, и не чаяли выбраться из мудятника этого, – снимая с плеча футляр камеры, выдохнул Петренин.

– Закончилось? – отозвался Илья Павлович. – Рановато сегодня.

– И слава богу, слава богу... – Оператор бухнулся на диван, достал сигареты. – А у тебя как? Выездов не было?

– Нет, жду вот.

Саша Германов, длинноволосый сухощавый парень в металлистском балахоне, укладывал штативы в кабинку; спросил Алексеева, который как раз занялся просматриванием сценария:

– Чего читаете?

– Да Давыдин дал вот... Фильм снимать...

Германов оживленно перебил:

– Идея классная! Я уже читал... как его... «Свет и тени». Подписался участвовать.

– А что такое? – заинтересовался Петренин. – Какой еще фильм?

– Леха Давыдин написал сценарий, короче, – стал рассказывать осветитель, – по какому-то классику прошлого века. Отличный, кстати, сценарий. И вот думает фильм теперь попробовать снять.

– Глупости, – буркнул Илья Павлович.

Германов удивился:

– Почему же глупости?

– А кто финансирует? – задал уместный вопрос Петренин.

– Да там и затрат, по существу...

– Это на первый взгляд всегда так, – раздражаясь, сказал Илья Павлович, убрал сценарий в свою сумку. – А потом глядь – откуда они и берутся, затраты...

По коридору тяжелые шаги и зычный, взъявленный женский голос: «Где Алексеев? У себя? Илья-а!...»

– Что там такое! – Илья Павлович вскочил, побледнел моментом. – «Неужели Машка что...» – стукнуло в голове.

Вбежала Марина Олеговна Семак, пожилая, полная, но бойкая журналистка, специализирующаяся на из ряда вон выходящих событиях.

– Илья Палыч, собирайся! Готов? Батарей побольше бери.

Алексеев поморщился:

– Зачем так кричать... – Стал укладывать камеру в футляр.

– Куда едете? – спросил Саша Германов возбужденно, еще не успев остыть от начавшегося спора о фильме.

– На перчаточную. Опять беспорядки. Рабочие трассу перекрыли, директора держат, – скороговоркой отвечала Марина Олеговна, наблюдая за собиравшимся Алексеевым.

– А можно мне с вами? Может, подсветить там...

– Давай, Саша, конечно.

Втроем они быстро спустились во двор телецентра, влезли в гудящий «узик».

– Давай, Гена, гони к перчаточной! – велела Семак водителю.

Перчаточная фабрика находится на окраине города. И путь бригаде предстоял неблизкий – минут двадцать, да и то опытный Гена старался миновать оживленные улицы с их неизбежными светофорами, пробками. Марина Олеговна все же подгоняла:

– Ген, прибавь газку, не дай бог не успеем. Сорвется сюжет.

«Уазик» от быстрой езды потряхивало, мотор ревел, в салоне пахло сгоревшим бензином. И в такой обстановке совсем уж раздражающе-глула была реплика осветителя:

– Все-таки, Илья Павлович, зря вы так скептически настроены по поводу фильма. Парень Давыдин пробивной, с головой...

– Саша, здесь не место об этом рассуждать, – перебил Илья Павлович и стал смотреть в окно.

Ехали по узким укромным улочкам. Чем дальше от центра, тем все ниже и грязнее здания; вот пошли и бесконечные кварталы одноэтажных домишек, обнесенных черными глухими заборами. Город в этом направлении последние десятилетия не развивался. Так получилось, что почти все промышленные предприятия, еще с давних пор, строились здесь, одно вблизи другого. Кожевенный, деревообрабатывающий заводы, мебельная и перчаточная фабрики, ЖБИ, нефтебаза, элеватор, ТЭЦ... Вокруг предприятий наросли жилые постройки – тоже серые и скучные, как здания заводских корпусов, – ветхие избушки, двухэтажные бараки, возле которых жались худосочные огородники. Район этот называли в народе Рабочей слободкой, а официально – Промзона. Телевизионщики в последнее время бывали здесь частыми гостями: то забастовка, то поход рабочих к городской администрации, то различный криминал, чаще на бытовой почве, то проблемы чисто производственные – авария на ТЭЦ, взрыв на элеваторе, угрожающее скопление древесины на маломощном деревообрабатывающем заводе... Сейчас вот опять ехали туда за горяченьким, да и почти сенсационным материалом: рабочие перекрыли движение по автотрассе федерального значения. Семак лихорадочно торопила водителя и заранее предупредила оператора:

– Илья, камеру приготовь, чтоб там сразу начать работать. Снимай все подряд, потом разберемся. – Нахмурилась, вспоминая: – Да, что вы там про Давыдина говорили?

Илья Павлович отмахнулся:

– А-а, пустое, так...

– Он фильм задумал снимать. Короткометражку, – заговорил Германов бойко, как очень заинтересованный человек. – Идея замечательная у фильма, никакого насилия, этой дешевой зрелицности. По рассказу какого-то писателя... забыл, как зовут...

– М-да, – усмехнулась Марина Олеговна. – Этот Давыдин... Вечно у него... А о конкретной работе, за что ему деньги платят, вконец забыл. Что он сделал за последнее время? – Обернувшись со своего переднего сиденья, она выжидающе смотрела на Германова, на Илью Павловича. Сама и ответила: – Ничего, кажется. Ничего, что заслуживает мало-мальского интереса. А вот фильм, это, конечно, – она снова усмехнулась, – это по его одаренности, его масштабы.

– А и неплохо бы, – подал голос водитель Гена. – Может, когда-нибудь и «Мосфильм» обгоним, глядишь.

Семак, явно начиная злиться, подытожила:

– Давайте, господа, своими обязанностями заниматься!

«Вот-вот», – в душе согласился Илья Павлович.

Возле ворот проходной толпились люди, человек больше ста, в основном женщины. «Уазик» остановился на площадке для служебных автобусов, привозящих на фабрику и развозящих по домам рабочих. Ничего воинственного в поведении людей заметно не было, казалось, они просто ждут автобус после смены.

Марина Олеговна, открывая дверцу, скомандовала:

– Ну, вперед! Илья, ты в гущу лезть не спеши, я разберусь сначала, выясню, что там... Снимай пока общий план.

Она пошла к людям. Алексеев остался около машины, открыл объектив, поставил камеру на плечо, микрофон держал в руке.

– Что-то на беспорядки-то не похоже, – сказал Германов, озираясь по сторонам.

Семак разговаривала с женщинами. И те быстро возбудились, окружили ее, голоса стали громкими и злыми; Марина Олеговна оглянулась на Илью Павловича, тот пошел к ней, на ходу снимая.

– …Невозможно так больше! Терпим, терпим, а только хуже!.. Что мы, зверье, что ли, какое?! – наперебой выкрикивали работницы, все немолодые, измотанные, некрасивые. – Как в какое-то средневековые снова свалились – и никому ничего!..

– Так, так! – кивала Семак, принимая у оператора микрофон; выкрики всё нарастили, и она, подняв руку, приказала: – Давайте спокойно поговорим, по порядку!

– Да как тут спокойно?! Это вам можно спокойно!.. – заверещала маленькая, вертлявая полустаруха в бордовом, из искусственной шерсти берете и стареньком, купленном скорее всего в «Детском мире» пальтишке. – Лучше тогда закройте ее, эту фабрику чёртову, чем так! За полтора года три раза кассу открывали. Сунут подачку какую-то – и снова работай за так. Это что ж такое?!

– Вот выволокут счас его, мы его на куски… – с холодной, закаменевшей злобой сказала другая женщина, сухая, высокая, некогда очень, наверное, симпатичная. – Разъелся, сволочь… Всё мы про него знаем.

– Китайцы вон все рынки позанимали, своими носками, перчатками торгуют сидят. А наше где?

Илья Павлович снимал женщин, беспомощную Марину Олеговну, тщетно старающуюся сделать приемлемый репортаж, с вопросами и ответами. Работницы снова загомонили все разом, не стесняясь камеры, сыпали матом, нечленораздельными восклицаниями… Кто-то крепко пихнул Алексеева в бок, так, что камера чуть не слетела с плеча. Забыв выключить, он ее опустил, опасаясь следующего толчка. Рядом с ним стояли трое мужчин. Передний, здоровенный, лобастый, тоже немолодой, с красной повязкой на правой руке, густым басом заговорил, обращаясь к женщинам:

– Чего вы с ними ля-ля заводите? – С ненавистью глянул на журналистов. – Они ж все по-своему переделают, чего б вы тут ни распинались. Вас дурами и покажут.

– Гнать их отсюда! – рявкнул другой мужчина.

Женщины тут же их поддержали:

– Смотрим мы ваши программы! Гады продажные!

– Жареного захотелось??!

– Спихнуть их машину в овраг, пускай, ха-ха, делом займутся!

– И-ишь! – Маленькая, в берете, дернула Илью Павловича за полу пиджака. – Гладенькие какие! Хорошо, видать, за помои ваши плотют!

Журналистов стали теснить к «уазику». Алексеев попытался было вернуть на плечо камеру, но ему не дали.

– Щас хрясну твою игрушку, тогда наснимаешь! – пригрозил обещающим басом лобастый.

Семак махнула рукой:

– Ладно, Илья, пошли отсюда.

Поехали к трассе. Марина Олеговна говорила в свой сотовый телефон:

– Да, настроены крайне агрессивно. Кое-что успели отснять, но мало совсем. Чуть было не прищучили нас. Да… Не понимаю, почему милиции нет до сих пор. Кажется, пытаются до директора добраться, угрожают, что, мол, на кусочки его разорвут. Что?… Да. Высыпайте машину к фабрике, а мы на трассу. Попытаемся там что-нибудь… Ну, все. Да… – Положила телефон в нагрудный карман куртки, глядя вперед, на открывающуюся степь за недостроенным когда-то, а теперь разрушающимся скелетом несостоявшегося завода, вздохнула: – Н-да, господа, веселенькое наклевывается дело…

В голосе ее за вздохом скрывалась радость, охватывающая журналиста в тяжелой ситуации. Чем опаснее и напряженнее обстановка, тем интереснее, значит, получится репортаж... И совсем по-боевому она отдавала приказы:

– Гена, ты сидишь в машине, мотор не глухи. Понял? Мало ли что. Ты, Саша, при Илье Палыче, телохранителем. Открути от штатива трубку. Так. У меня диктофон... – Марина Олеговна проверила висящий на ремне джинсов маленький диктофон, – в порядке.

«Уазик» выбрался с разбитой, ухабистой грунтовки на новенький асфальт широкой трассы.

– Вон, налево заворачивай, – кивнула Семак.

– Вижу я, вижу, – выворачивая руль, прорычал Гена.

Вдалеке разноцветье многих автомашин. Легковушки, высокие пульманы и фуры дальнобойщиков; среди них мельтешат люди.

– Ну, дай-то бог, чтоб все удачно, – бормотнула Марина Олеговна, нетерпеливо и нервно ерзая на сиденье.

Возвращались уже в сумерках. Молчали. Все, кроме некурящего Ильи Павловича, тянули сигареты одну за одной. Уставший Гена не жалел «уазика», колеса то и дело находили выбоины, пассажиры подпрыгивали, чуть не доставали головами до тента.

Только когда въехали во двор телецентра, Марина Олеговна, словно не решаясь раньше, удовлетворенно выдохнула:

– Вот-с, господа, и готово. Сейчас обработаю, в десятичасовых новостях запустим... Спасибо за службу, орлы!

– Уху, – обиженно хмыкнул осветитель Саша, потирая ушибленное плечо, – а мне за штатив отвечать. Черт меня дернул с вами...

– Ничего, спишем как боевую потерю.

Илья Павлович был в плохом настроении. Еще со съемок позвонил домой сообщить, чтоб не волновались, он задерживается, жена расстроенным голосом ответила: сына нет и нет, в поликлинику они не попали. «Вечером разберемся», – торопливо пообещал Илья Павлович, поймав взгляд Марины Олеговны, недовольной, что он так долго говорит по дорогостоящему средству связи... Теперь вот предстояло отчитывать сына, а это Алексееву всегда было как-то неловко.

Тяжело поднялся по черной лестнице, избегая разговоров с сослуживцами, закрыл камеру в шкаф, сдал ключ на вахту и, не прощаясь с Марией Олеговной, отправился домой.

Троллейбус почти пустой, много свободных мест. Основной поток возвращающихся с работы давно миновал. Илья Павлович сел, положил сумку на колени. Снял кепку, вытер платком лоб.

– За проезд рассчитываемся, – остановилась над ним кондукторша.

Илья Павлович пошарил в кармане, показал проездной.

Кондукторша недовольно кивнула, опустилась на ближайшее свободное сиденье, приняв сортировать деньги. Илья Павлович смотрел, как мелькают в ее руках синие, зеленые, розовые бумажки, мятые и свеженькие; почему-то не мог оторваться. Ему захотелось спросить, сколько получают кондукторы и какой у них в среднем сбор за смену, какой график работы... Одумался, не спросил. Мотнул головой, уставился в окно, за которым светится тысячами разноцветных огней вечерний город.

Еще завтра, послезавтра – и суббота. Два совсем свободных дня. Может быть, выберутся семьей на дачу. Там многое еще надо сделать до снега. Пора и яблоньки, вишни, клубнику укрыть, ботву и мусор сжечь, развинтить поливные трубы... Да, обязательно надо съездить. Погода как раз самое то. А через неделю, глядишь, уже и зима навалится...

На качелях на детской площадке сидит человек. Слегка отталкивается ногами от земли, покачивается, и по двору, в прохладном, мертвощем воздухе плывет ленивый, наводящий тоску и беспокойство скрип заржавевших подшипников.

Алексееву до своего подъезда остается десятка два шагов. С качелей окликнули: «Илья! Илья, погоди». Илья Павлович узнал этот голос. Поморщился, остановился.

К нему шел Максим Петров. В старом плаще, патлатый, щетинистый, заметно постаревший за те несколько месяцев, что они не встречались.

– Здравствуй, Илья, – тревожным, опасливо-заискивающим голосом поздоровался Максим, протянул руку.

– Здравствуй.

– Как живешь? М-м… Как семья?

– Да так же. – Алексеев пожал плечами. – Всё так же.

От Максима попахивало свежей водкой, но пьяным он не казался – скорее растерянным и расстроенным.

– Слушай, я тебя тут жду… часа два просидел. Как знал, что ты пойдешь. Все порывался уходить, поздно ведь, а что-то не пускало – ждал. Дождался вот.

– Н-да, – кивнул Илья Павлович. – И что? – Он стал раздражаться и злиться. – Денег занять?

– Нет-нет, – не слыша его раздражения, отмахнулся Максим, – денег не надо. Надо поговорить. А?

– Нет, Максим. Я спешу домой.

– Пятнадцать минут. Можешь ты уделить старому университетскому товарищу пятнадцать минут раз в полгода?

– Сегодня не могу, – твердо ответил Илья Павлович.

Максим жалобно смотрел на него. Потом почти шепотом, вкрадчиво сообщил:

– А завтра может и не быть. В курсе?

– Кончай, Максим, – снова поморщился Алексеев, нетерпеливо переступил с ноги на ногу. – Заходи как-нибудь, поговорим. Сейчас у меня действительно нет ни сил, ни времени.

– Кху… Ты же знаешь, что к вам я не пойду, зачем и приглашать…

– Почему?

– А тебе жена ничего не говорила? – удивился Максим.

– О чем?

– М-м, странно… Я, короче говоря, принес стихи… ей… Отвергли.

– И что, из-за этого…?

– А этого мало?! – В голосе Максима послышались слезы. И он снова попросил: – Пойдем, Илья, поговорим пятнадцать минут. И разбежимся.

– Пойдем, – вздохнул Илья Павлович.

В ближайшем кафе они заняли столик. Максим заказал две водки по сто граммов и два бутерброда.

– Я не буду, – сказал Алексеев, отодвигая стаканчик.

– Ну, глоток!

– Слушай, Максим…

– Все-все. Как хочешь.

С минуту сидели молча. Петров глядел в стол, Илья Павлович на него. В Максиме появилось пугающее, кажется, никогда его не отпускающее теперь напряжение, которое бывает у сходящих с ума, покоренных одной громоздкой мыслью людей; они обсасывают ее, ощупывают со всех сторон, не могут от нее отвязаться. И, глядя на своего прежнего друга, на его полуоткрытые красноватыми опухшими веками глаза, на тонкие губы, по привычке беззвучно шевел

лящиеся, Илье Павловичу стало жаль Петрова, захотелось сказать ему что-нибудь искреннее, хорошее. Но таких слов не находилось.

Максим усмехнулся, отпил из стаканчика половину, откусил бутерброд. Прожевав, начал нехорошим, с издевкой тоном:

– Счастливый ты человек, Илюха. Завидно даже... Это вот как у всех лихорадка, жар, а ты – здоровый. Ничего тебя не колеблет. Редкий человек... С таким образованием и... Ну, например, почему ты до сих пор простой оператор? Ты ведь и сейчас просто оператор, так?

– Да. И что?

– Неужели не предлагали чего побольше?

– Предлагали. А зачем?

– Ну, и оклад, и... гм... престиж. Должен же человек к чему-нибудь стремиться... Или стихи писать все лучше и лучше, или по службе все выше и выше... Так ведь?

– Мне и так нормально. Ты об этом хотел поговорить?

Максим опустил глаза, сморщился:

– Да ни о чем я не хотел говорить... Посидеть просто хотел с товарищем, выпить по капле... Стихи, может, почитать. Твоя жена вот...

– С-слушай, – стиснув зубы от разом подступившего бешенства, прошипел Алексеев, – ты же знаешь, как ее зовут!..

Было время, они с Максимом довольно близко общались, жены их были в хороших отношениях. Дети дружили. Потом Максим вдруг возомнил себя поэтом, запил, развелся с женой...

– А ты, а ты... – тоже сдерживаясь, чтобы не кричать, ответил Петров, – ты знаешь, как она со мной... когда я стихи ей принес? Так, словно я мразь последняя, даже сесть не предложила... И вернула так... как собаке поганую кость...

Он опрокинул в рот остатки водки, не закусывая, не переводя дыхания, продолжал:

– Я пять лет – пять лет! – над этим сборником работал, им жил только. Все вложил в него! Понимаешь?... И что теперь? Как мне теперь, у?! И ведь понятно, не из-за стихов она... не стихи тут, а сам я – в главной роли. Ей Ленка напела, что я, скотина, бросил ее, Сережку, и она ко мне так теперь. Разве правильно это? Тут же, получается, не о творчестве речь... Скажи, правильно так?

– Я узнаю, – устало и холодно произнес Алексеев. – Но я уверен, что Татьяна вернула стихи чисто из-за их... гм...

– Бездарь я, так? – потянулся к нему Максим больным и страшным лицом.

– Я их не читал... В стихах я не разбираюсь.

– Не надо. Не надо, как говорится, тряндеть. Помню, как ты в университете не разбирался...

Илья Павлович встал из-за столика.

– Мне нужно идти.

– Иди, – равнодушно сказал Максим.

– Я узнаю у Татьяны...

– Не надо, не утруждайся...

...Ехал в лифте вместе с соседом.

– Как, Илья Палыч, в субботку придешь играть? – спросил сосед, светясь после пробежки по скверу здоровым румянцем.

– Естественно, – не особо бодро ответил Алексеев, – приду.

– У них, говорят, Кудряшов выйдет, поправился.

– Да? Интересно...

– Да-а, – поддержал сосед, – он-то забивать умеет. Приходи, не подведи.

– Приду обязательно. Только нужно, чтобы без задержки сыграть. В девять начать, как установили. А то будут стягиваться полдня... Хочу на дачу выбраться...

Сосед согласно кивал, машинально застегивал и рассстегивал молнию на своей ветровке.

– Я обзвоню ребят, предупрежу. Ну, до встречи!

– Пока!

Каждую субботу мужчины окрестных домов собирались на футбольном поле ближайшей школы. С давних пор разбились на две команды, человек по двадцать, играли по всем правилам – с заменами, судьями. Бывали болельщики; один старичок даже вел протоколы матчей...

В квартире тихо, темно. Провинившийся Виктор сидел в своей комнате за уроками, жена читала рукописи.

– Наконец-то! – обрадовалась она, появляясь в прихожей. – Долгоночко ты нынче.

– Выезжали на перчаточную... Надо десятичасовые новости глянуть, там репортаж должен быть.

– Виктор, помоги мне в зале накрыть! – позвала Татьяна и пошла на кухню.

Ели тефтели с картофельным пюре. Илья Павлович выпил три рюмки водки, сразу почувствовал облегчение от груза не очень-то приятного дня.

На экране телевизора сначала была Маша Скворцова с анонсом своей программы «Рост» – она, оказывается, будет о новом ночном клубе и фестивале молодых скрипачей. Затем пожилой, отечный диктор, ветеран областного телевидения Кандинкин, стал читать новости. А вот и репортаж о событиях на перчаточной фабрике и трассе федерального значения. Женщины у проходной; мельтешащая съемка Ильи Павловича, когда его пихнули, придала репортажу еще больше напряжения; десятки автомашин на дороге и рабочие, перекрывшие проезд автобусами; омоновцы, растаскивающие рабочих; снова у проходной: выезжает «Волга» директора, цепи милиционеров, устроивших для нее коридор. И все это под сопровождение торопливого, нервно сбивающегося голоса Марины Олеговны Семак.

– О-х-хах, – качала головой жена, – когда ж это кончится? Каждый месяц обязательно что-нибудь такое. Доводят людей...

– Сами они виноваты, – буркнул Виктор, взглянув на экран.

– Почему это? – Илья Павлович удивился.

– Да так... Нормальные люди там давно не работают.

– Н-ну, не всем же на рынках торговаться, – усмехнулся Алексеев и перевел разговор: – Кстати, я Петрова Максима встретил сейчас, – обратился было к жене, но тут же остановился: – Ладно, потом...

– А что такое?

– Так, ладно, – отмахнулся он. Строго спросил сына: – Ну и что, Виктор, случилось?

– У? – Тот сделал вид, что не понял.

– Договорились идти к зубному, мать тебя прождала, изнервничалась... Ты ее подвел, получается. В чем дело?

– У Ирки же Чепурновой день рождения был... Чаепитие.

– Как раз сегодня?

– Уху.

– Перестань ухукать! – не выдержав, повысил голос Алексеев. – И что, ты не мог сообщить, что так и так, позвонить, чтобы мать не волновалась?

Виктор молчал, водил вилкой по пюре, оставляя на нем бороздки.

– Нехорошо, сын, подло, прямо надо сказать, ты поступил, – стал заканчивать Илья Павлович; от выпитой водки хотелось в кресло – посидеть, расслабиться. – Доедай иди учи уроки, никаких гуляний до конца недели. Понятно?

– У... – хотел было сказать «уху» Виктор, но вовремя поправился: – Да.

– И думай, прежде чем совершать что-либо. Заранее сказать можно было, позвонить, как-то решить...

Жена принесла чай, возобновила этот уже утомивший и отца и сына разговор:

– Весь день практически получился наスマрку. Работу взяла на дом, а с половины третьего места себе найти не могла. Нет и нет его. Вот в восьмом часу только пришел.

– А где ж ты был так долго?

– Ну, уроки кончились, – загундел виновато сын, – пошли подарок покупать, торты. Потом чаепитие в классе было… музыка… Кончилось – и домой сразу пошел. У Натальи Сергеевны узнайте, если не верите.

– Ладно, поверим, хотя… Ты взрослый человек, Виктор, нужно следить за своими поступками.

Илья Павлович сидел на диване, пытался читать сценарий. Тихонько, не мешая, работал телевизор. Жена корпела над рукописями, изредка что-то помечала в них карандашом.

– Такое приносят… Фуф, просто диву даешься!

Илья Павлович пощупил:

– Гениальное?

– Да уж, – вздохнула жена уныло, – гениальное – дальше некуда.

– Вот хорошо, что напомнила! Тут Петрова встретил, точнее, он меня возле подъезда ждал. И… и стал жаловаться, что, дескать, ты его стихи читала, он тебе приносил, и как-то плохо с ним обошлась, вернула как-то…

– Петров? Мне стихи? – искренне изумилась жена.

– А что, Тань?

– Да ничего он не приносил… Может, кому другому, но мне – нет.

– Действительно?

– И что он говорил?

– Н-ну, страшно обижен, принес, говорит, сборник, работал над ним несколько лет, а ты, мол, вернула, не сказав ничего… Он считает, что из-за того так, что он Елену бросил, сына… Ну и прочее в том же роде…

– Забавно! – Жена развелась, отложила карандаш, поднялась. – Нет, ничего он мне никогда не давал читать. Ни строчки. – Прошлась по комнате. – Может, Вере позвонить? Ей, может, давал?

– Да ладно, не стоит. Завтра узнаешь.

– А он трезвый был, Максим?

– Не особенно, но вроде и не пьяный. Ладно, Тань, успокойся. Черт с ним, с этим Петровым.

Илья Павлович взялся было опять за сценарий Давыдина, но больше читать не мог.

– Пойду сполоснусь. Спать, наверно, давай.

– Пора уж, начало двенадцатого. – Жена наводила на столе порядок, завязывала папку с рукописями. – Завтра у нас совещание, план на четвертый квартал утверждаем. И ничего стоящего почти…

– М-да, – сочувственно вздохнул Илья Павлович и пошел в ванную.

Решал, принимая душ, рассказать ли жене о сегодняшнем инциденте с Машей Скворцовой или же умолчать. Если бы не Виктор, не его этот проступок, и не Петров, то наверняка бы рассказал, а так… «Опять расстроится из-за пустяка… Да и ничего, в общем-то, не было. И не будет!»

Как следует обтерся махровым полотенцем, смазал бальзамом Караваева давно намечавшуюся лысину над лбом.

– Слушай, Тань, может быть, мне о повышенице покумекать? – спросил жену, когда улеглись, выключили торшер. – Как ты на это смотришь?

– Что-то случилось?

– Да нет, просто... Тебе, наверное, неудобно, что муж твой просто оператор. Ты вот без пяти минут завотделом, и мне, может, подсуетиться?...

– Надоело мотаться с камерой? – улыбнулась Татьяна.

– Наоборот. Но...

– Зачем тогда?

– Ну ладно. – Алексеев поцеловал жену в щеку. – Спи, любимая. Спокойной ночи.

– Спокойной.

Будильник хороший. Он не звенит раздражающе, не пикает, не трещит как оглашенный, а играет нежную мелодию и приятным женским голосом объявляет: «Семь часов ровно. Пора вставать!.. – И после нескольких нот мелодии снова: – Семь часов ровно...»

Первой поднимается Татьяна, натягивает халат и идет в туалет, ванную. Затем встает Илья Павлович, будит сына.

Жена суетится на кухне, готовит завтрак. Виктор собирается в школу, доделывает домашние задания.

Илья Павлович раздвигает шторы, заправляет кровать, на полу расстилает коврик. Включает пластинку «Спейс», достает гантели.

– Раз, два, три, ч-четыре. Раз, два, три, ч-четыре, – расправляет он затекшие за ночь мышцы, смотрит в окно на тускнеющее с каждым днем, но пока еще живительное солнце.

1998 г.

Мы идем в гости

В субботу, за завтраком, мама вдруг объявила:

– Сегодня мы идем в гости!

У Татьяны на день были свои планы, у Мишки – свои. Услышав об этом, мама расстроилась, даже возмутилась:

– Кажется, я вас не очень стесняю. Так? Но сегодня прошу... требую!.. пойти со мной. Это очень важно.

Они жили втроем. Отец уехал четыре года назад; с тех пор Татьяна и Мишка видели, не могли не замечать, как быстро мама меняется. Что-то стало в ней появляться такое – неприятное. Стала она походить на чужую, вечно насупленную, готовую к скандалу, к ругани тетку. По вечерам сидела на диване без дела, слепо смотрела в сторону телевизора; еду готовила через силу, озлобленно как-то... Но с месяц назад мама начала слегка оживать, отмякать, с работы приходила немного позже обычного грустноватая, зато добрая и заботливая. И дети, уже почти взрослые, догадывались, в чем причина ее оживленности, поэтому не стали сопротивляться – поняли, куда зовет. Им показалось, что поняли...

Быстро закончили завтрак, оделись празднично и вышли из дома. Автобус подъехал к остановке почти сразу – ждать не пришлось. И только там Мишка не выдержал и спросил:

– Мам, а куда мы все-таки?

– Мы... Мы к Вере Ивановне.

– Чего?!

Пассажиры обернулись в их сторону...

Вера Ивановна была маминой сослуживицей; она появилась здесь совсем недавно, в конце лета, и вскоре по городку побежал слуховик, что ее сын болен страшной болезнью, о которой здесь знали только из передач по телевизору... Несколько раз, возвращаясь с работы, мама вслух горевала: «Наши даже близко к ней подходить не хотят, бумаги после нее в руки взять брезгуют. Эти, в отделе кадров, ворчат всё, зачем ее приняли – не знали, что со Славиком у нее такое... Славик вообще на улицу почти не выходит... Нужно им как-то помочь, поддержать бы». И вот, значит, сегодня решилась.

Всю оставшуюся дорогу молчали, глядя в разные стороны.

Вера Ивановна с сыном жили в кирпичной пятиэтажке возле автовокзала. Мама решительно, со строгим лицом, вошла в подъезд первой.

– Только ведите себя прилично, – сказала на лестнице. – Посидим часок, чаю попьем. Они ведь тоже люди. И очень хорошие, в сущности... Договорились?

– Угу.

Мама вдавила кнопку звонка. Быстро, будто за ней стояли, дверь открылась.

– Здра-австуйте! – чересчур радостно пропела мама. – А мы вот к ва-ам.

– Проходите, – мягкий, приятный голос в ответ; непонятно даже, девушки или парня.

Столпились в тесной – справа вешалка, слева зеркало с тумбочкой, впереди стена – прихожей; из-за спин мамы и брата Татьяна не сразу увидела невысокого, длинноволосого юношу в синем ворсистом халате. Лицо, узкое, сухощавое, какое-то по-южному яркое, было приветливым и симпатичным, но словно бы утомленным долгим недосыпанием. «Как после экзаменов», – вспомнила Татьяна себя и своих одноклассников, когда заканчивали девятый класс.

– Раздевайтесь, пожалуйста, – сказал юноша, и тонкие губы чуть раздвинулись в еле заметной улыбке. – Мама сейчас вернется. За тортиком спустилась.

– У-у! А мы тоже со вкусненьким!..

Вошли в зал. Мама познакомила Славика с Татьяной и Мишкой.

— Очень приятно! — уже открыто улыбался юноша. — Очень рад. — Заметил на себе халат, испугался: — Ой, прошу прощения! Как Обломов, до обеда... Располагайтесь, я сейчас. — Он плавно, но быстро заскользнул в соседнюю комнату.

Огляделись. Обстановка обычна — диван, журнальный столик и кресло рядом, большой, от пола до потолка сервант с посудой; в нем же — телевизор, видик, книги на двух полках...

— А это Славика, — указала мама на висящие над диваном картины.

Две, что по бокам — сине-багровые, и, на первый взгляд, на них изображены грозовые тучи, летящие в закатном небе, а на той, что в центре, оранжево-черной, — языки пламени среди кромешного мрака. Но стоило присмотреться, и тучи, пламя, превращались в силуэты изогнувшихся, сплетшихся меж собой обнаженных танцовщиков.

— Он художник, что ли? — тихо спросил Мишка.

— Да. И очень, между прочим, известный там... Даже выставки были.

Мишка как-то уважительно-удивленно усмехнулся, а Татьяна, глядя на картины, почувствовала вдруг приятное, незнакомое царапанье внизу живота. Захотелось дернуться и хихикнуть, как от щекотки...

Птичкой залился звонок в прихожей.

— Откройте, пожалуйста! — крикнул из комнаты Славик.

Мама открыла дверь и обрадовалась высокой, большой женщине в сиреневом пальто, а женщина — ей. Даже коснулись губами щек друг друга.

— Вот они — мои, — указала мама на детей. — Старшая, Татьяна, уже выпускница на будущий год, и Миша — паспорт на днях получил.

— Здравствуйте, дорогие гости! — Женщина развела руки, будто готовясь обнять и поцеловать их. — Счастлива познакомиться!

— А это — Вера Ивановна, — добавила мама.

Вера Ивановна была, конечно, уже немолодой, но все равно красивой; она напомнила Татьяне одну иностранную актрису... Катрин Денёв, кажется.

— Медовый торт любите? — спросила Вера Ивановна, снимая пальто. — А где Славик?

— Он там... переодеваться пошел.

— Отлично. Сейчас будем пить чай!

Стол накрыли в зале; мама высыпала из целлофанового пакетика в тарелку орешки с начинкой из вареной сгущенки — напекли с Татьяной вчера вечером; Вера Ивановна достала красивые, как музейные, чашки и блюдца...

Торт, орешки, конфеты «Ассорти» были очень вкусные, но особенно всем понравился чай — ароматный, крепкий, с запахом каких-то луговых цветов. На вкус одновременно и зеленый, и черный.

— Всё не решаюсь спросить, — подставляя чашку для очередной добавки, сказала мама, — что за сорт такой... Никогда не пила.

— Это нам из Франции присыпают, — ответила Вера Ивановна; она сидела во главе стола, за чайниками, на ней было темное платье с кружевным воротником, волосы, тщательно зачесанные назад, собраны в шишечку, а шишечка проколота деревянным стержнем; теперь она была похожа одновременно и на барыню позапрошлого века, и на японскую императоршу. — Название очень сложное. Славик?...

— Le thé des écrivains, — тут же, умело скривив, произнес он и перевел: — Писательский чай... Его многие французские писатели и художники пили. Мопассан, Пруст, Мане... Я тоже очень полюбил, когда жил в Париже. Чудесный аромат.

У Татьяны юркнул в горло и застрял кусок ореха. Она закашлялась. Мишка с удовольствием раз, другой хлопнул ее ладонью между лопаток. Татьяна взвилась:

— Перестань!

Наладив дыхание, глотнула чаю, стерла выступившие слезы и сидела, опустив глаза, – знала, все сейчас наблюдают за ней, сочувствующе-снисходительно улыбаются.

«Как дура», – ругнула себя.

– Славик, – раздался спасительный голос Веры Ивановны, – может быть, ребята хотят посмотреть твою мастерскую, работы. Им, наверное, любопытно.

– Да, конечно! Пойдем? – предложил он так как-то душевно, что Татьяна и Мишка сразу же поднялись.

Мастерская была в соседней комнате.

Прежде чем что-то увидеть, отметить взглядом, Татьяна почувствовала странный, необычный запах, до того сильный, что сразу слегка закружилась голова и снова приятно-щекочущее царапнуло в животе.

– Во-от, это моя берлога, – выдохнул Славик, зажег люстру. – Извините за беспорядок. Порядок, как Ван Гог говорил, – смерть.

По центру довольно большой, с двумя окнами, комнаты (видимо, она была угловой в доме) стоял мольберт. На нем холст, почти чистый, лишь тронутый в нескольких местах то ли карандашом, то ли черным мелком – вроде бы случайные скопления, пересечения линий… У дальней стены тахта, над ней полки с книгами и альбомами, а вдоль левой стены – стены без окна – широкийstellаж, забитый картинами, пустыми рамами, рейками, папками… На полу – на газетах и тряпках – банки с какой-то желтоватой жидкостью, тюбики, тубы, яички…

– Круто, – не удержался Мишка. – Никогда вот так у художников не был. К нам сюда вообще-то много приезжает летом. А вы?…

– Давай лучше на «ты», – с улыбкой перебил Славик. – Разница в возрасте, кажется, небольшая.

– Давай.

Он прошел к тахте, поправил на ней покрывало.

– Садитесь, пожалуйста, давайте поговорим. Получше познакомимся.

Татьяна и Мишка сели. Славик устроился напротив на табуретке. Положил правую ногу на колено левой. Он был в светло-синих джинсах, легкой оранжевой рубашке; длинные густые пряди, чуть выющиеся, то и дело падали на лицо, и Славик закидывал их назад… Татьяна смотрела на него с интересом и слегка со страхом – в их городке, вдалеке от железной дороги, крупных городов, парней с такой прической, такого типа она до сих пор не встречала. Даже художники, про которых ляпнул Мишка, были другими – здоровые мужики, похожие на небритых штангистов, а этот… То, что каждый день показывали по телевизору – все эти клипы,очные клубы, тусовки, модельеры, стилисты, – всегда казалось ей почти ненастоящим, как мультфильмы; местные парни всячески выпячивали свою силу и грубость, стриглись коротко, почти налысо, и частенько, встретившись, хвастались друг перед другом, потирая ладонью голову: «Во! Три миллиметра, блин, – десантский стандарт!»

– Значит, вы еще в школе учитесь? – спросил Славик.

Татьяна и Мишка кивнули:

– Да.

– Уху.

– А дальше какие планы?

– Не знаю, – сказал Мишка. – Мне еще рано думать. Надо хоть девятилетку добить, а там уж…

– Нет-нет! – воскликнул Славик почти испуганно. – Ты что?! Необходимо полное среднее получить! Я столько знал ребят, которые бросили после девятого и – покатились. Теперь слесарят, канализации чистят… А одаренные ведь от природы.

Татьяна покривила губы в невольном согласии, а Мишка с не очень большой охотой бормотнул:

– Ну да, надо, конечно...

– А вы, Таня, определились?

Она никогда всерьез не задумывалась, как-то боялась задумываться, что станет делать после школы. Но сейчас, чтобы показаться взрослеей, именно определившейся, твердо сказала:

– Я решила поступать в торговый.

– В институт?

– В техникум. У нас тут институтов нет...

– Да? – Славик разочарованно покачал головой. – Торговый техникум... Гм... А на большее посягнуть не хотите?

– На что посягать? – И Татьяна услышала в своем голосе раздражение – раздражение от неловкости: будто ее на какой-то глупости поймали.

– Скажем, рвануть в Питер или в Москву, в театральный попробовать поступить, в «Фабрике звезд», условно говоря, принять участие? Вы девушка симпатичная, фактурная, голос, кажется, есть, движения...

Она почувствовала как зажгло щеки; из последних сил выдавила более-менее едковатое, независимое:

– Не всем петь – кто-то и хлеб продавать должен.

– Гм... Ну что ж, тоже логично. Продавать хлеб... – Славик пожал плечами, посмотрел куда-то мимо Татьяны и Мишки и улыбнулся почти жалобно: – Вы простите, ребята, что я так, как на допросе. Просто закис совсем, отвык разговаривать – три месяца практически не выхожу никуда. Да и никогда не жил в таких местах. Деморализован, как говорится... Общения хочется, в кафе посидеть, погулять. Места тут у вас, кажется, благодатные. Только вот... – Он вздохнул. – Вы, наверное, знаете о моей проблеме?... Да, конечно. Здесь сразу все всё узнают. Так ведь?

Сразу стало неуютно, тревожно. И тихо. Так же когда-то Татьяна с Мишкой сидели в больничной палате возле койки умирающей бабушки...

– Вот пытаюсь бороться, работать начал, – с усилием, но все-таки бодро произнес Славик, кивнув на мольберт. – Сложно, правда. На новом месте всегда сложно... Нужно осмотреться, мастерскую обжить – чтобы маслом пропиталась, флюидами, так сказать. Тогда что-то, может, и начнет получаться. Рождаться.

И только замолчал – колючая неуютность продолжила расползаться.

– А это красками так пахнет? – скорее чтоб отогнать ее, чем из интереса спросила Татьяна.

– Как? Чем-то гадким? Я привык, не чувствую.

– Нет, приятно пахнет, только странно.

– Аромат еще тот! – Славик взглянул на стоящие на полу банки и тубы: – Масло, ацетон, лак, скрипидар, жидкий мел... Целая лаборатория, в общем.

Обычно заполошный, любопытный, бесцеремонный до хамоватости Мишка сидел сейчас тихонько, нахохлившись, избегая встречаться со Славиком глазами... Татьяна поискала, о чем бы еще спросить, нашла:

– Слава, а вы правда в Париже были?

– Правда. А что?... Рассказать?

– Ну, если не трудно.

Он засмеялся:

– Нет, как раз это-то мне не трудно! О нем я часами могу... – Поднялся, прошел по свободному пространству комнаты-мастерской, посмотрел в окно; за окном, внизу, – пятно при вокзальной площади с пыльными ларьками, «Икарусами» и «пазиками»; в пятне мельтешили

или замерли, как пойманные на липкую ленту мухи, бесцветные человечки... Дальше, за площадью, серели шифером и некрашеным деревом дома частного сектора, торчали скелетики самодельных антенн...

– Я там полгода прожил, – вырываясь из невеселого, тоскливого созерцания, заговорил Славик, – на самом Монмартре. Это холм такой, с него весь Париж... У самых ног лежит. Такие пейзажи! А на самом верху собор белоснежный. Сакре-Кёр. Очень красивый, впечатляющий такой. Архитектурно на мечеть очень похож... Вокруг кафе, магазинчики, художники сидят. До самого рассвета жизнь. Хм, праздник... – Он грустно улыбнулся. – Да там на каждом шагу что-то знаменитое. Под Монмартром – «Мулен Руж». Слышали? Кабаре такое, самое известное в мире. Мне посчастливилось побывать, но – не очень. Слишком всё для туристов. А лет сто двадцать назад, во времена Лотрека, там, наверно, действительно рай для богемы был. Настоящее чрево... Пляс Пигаль, Клиши, Опера... Нет, друзья, – Славик взглянул на скучожившихся на тахте, будто замерзших брата и сестру, – нет, это слишком великий город. Словами о нем не расскажешь. Надо видеть, вдохнуть... Лучшие дни жизни он мне подарил, но... но и вечную теперь... крест до конца жизни, в общем. – Сел на табуретку, но неловко как-то, боком к гостям. – Из-за этого мы сюда и переехали. Думали, спокойно будем здесь, никому не известными... Врачиха разболтала и – вот. И здесь я изгоем стал... Ее судить надо за нарушение врачебной тайны, на самом деле. Тупица!.. На улицу права выйти теперь не имею, маму травят... Хм, мешок надо сшить и ходить с ним на голове, звенеть колокольчиком. Как прокаженные в Средневековье. Или пусть камнями забьют...

Татьяна поежилась, а Мишка, воспользовавшись молчанием, выдавил:

- А это... как случилось... ну, что это?...
- Ты имеешь в виду, как я заболел?
- Н-ну... Уху.

Славик пожал плечами:

- Да в принципе – обыкновенно. Колол наркотики. Там многие этим увлекаются.
- У-у! Герыч? – как-то испуганно-уважительно произнес Мишка.

– Нет, – мягкая, снисходительная улыбка в ответ, – не геройн. Но кое-что близкое. Тоже на опиумной основе... Теперь – теперь, естественно, с этим покончено. Да! Это пропасть, ребята, поверьте. И пробовать даже не советую. Это за гранью. – Он снова поднялся, прошел по комнатке. – Хотя... хотя, знаете, порой так тянет почувствовать, ощущение повторить, когда по крови волна проходит. Прямо как приступы... Непередаваемое все-таки ощущение! И мир изменяется. Мгновение – и всё другое... Ведь зачем-то природа создала мак, дала человеку это знание. То есть... – Словно бы очнувшись, Славик вздрогнул, поморщился. – Впрочем, много каких ядов человек придумал. Одно запрещено, другое вон лежит повсюду, продается. Но нужно научиться силой души менять свое состояние. Это я твердо понял. Слишком поздно, к сожалению.

Татьяна с тревогой, но и интересом смотрела на Славика, слушала. Да, такие юноши ей никогда не встречались: говорил он без мыканий и нуканий, почти гладко, хоть и заметно очень волновался. И ей сейчас не особенно важно было, что именно он говорит, она ловила интонацию, нотки голоса, следила за сменой выражений его подвижного лица... А Мишку занимали подробности:

- И что, в Париже это легко, ну, с наркотой?
- Как сказать... Не то чтобы легко, но и не как здесь, в России. В общем-то там относятся довольно терпимо. Без марихуаны, например, ни одно пати не обходится. Кокаин тоже довольно-таки обычное дело... Главное – не наглеть, соблюдать видимость нелегальности.
- Уху... А как ты узнал, что вот у тебя?... Ну... Я бы... – Мишка подавился словом, – я бы не знаю что сделал.

– Я тоже сначала не знал. Конечно же, не поверил. Но реакция подтвердилась, положительная реакция. И тогда в голове стало стучать, биться – одно и то же стучало каждую секунду, даже во сне: «Почему я? Что я совершил такое, что так наказан?» И возникали мысли себя убить. А как же? Зачем мне?... Из окна выпрыгнуть: секунды какие-то – и всё закончено. Ведь что меня ждет, действительно? Ад. Медленно, мучительно... Да. Вы даже не представляете, как тяжело от этого умирают. Страшнее рака.

Татьяна несколько раз быстро моргнула – глаза щипало. Ей всегда хотелось заплакать, стоило хоть мельком услышать про смерть, мучения...

– Вот кого жаль, так это маму, – продолжал Славик внешне уже почти спокойно. – С самого детства она всё делала, чтоб я стал... Ради меня жила. Без преувеличения. А я теперь живу ради нее. И знаете, ребята! – Он резко сел. – Знаете, я, кажется, начинаю не то чтобы привыкать или смиряться, а как-то приспосабливаюсь к своему положению. Да, мне суждено нести этот крест, и нужно его нести достойно, нужно заниматься серьезным делом. Нельзя умирать раньше времени. Ведь так? Я принимаю лекарства, они улучшают мое самочувствие и должны продлить мою жизнь... Я вернулся к живописи. Пока боюсь, конечно, загадывать, но вроде бы... вроде бы!.. меня хотят взять преподавателем живописи в ваш художественный лицей. Сейчас решают... – Славик вздохнул, но теперь вздохнул как-то облегченно, почти светло. – В общем, впереди брезжит некий свет. Единственное, что по-настоящему тяготит, это сознание обреченности на одиночество. Что я навсегда один... Понимаете? Страшно смириться с тем, что у меня никогда не будет жены, сына не будет... Многие, – усмехнулся, – многие, кто оказался в моем положении, любят шутить, что они категория... гм... категория людей, которая живет не с мужчинами или женщинами, а со СПИДом... Вот так... – Он опустил голову. – Одиночество.

– Но есть же, – неожиданно для себя загорячилась Татьяна, – есть способы уберечься... уберечь любимого человека... Есть же, ну... презервативы есть.

Мишку хмыкнул, услышав от сестры неприличное слово; Славик откинул с глаз волосы, взглянул на нее, как на несмышленую, наивную девочку.

– К сожалению, Таня, на самом деле это очень сомнительная защита. Я вынужден читать теперь много специальной литературы, и, по оценкам ученых, презерватив дает в лучшем случае девяносто процентов защиты от вируса. А большинство марок – те, что в киосках продают – практически бесполезны.

– Как это?! – встрепенулся Мишка. – Везде ведь... что нужно их использовать...

– Дело в том, – на лице Славика опять появилась мягкая, умудренно-печальная улыбка, – что поры латексной резины, из которой презерватив сделан, превышают размер вируса. Понимаете? Поэтому рано или поздно вирус может проникнуть в кровь партнера. Вот так... Так, всё! – Он поморщился, мотнул головой. – Всё, друзья, хватит об этом! Давайте-ка я вам лучше гуашь покажу. А? – Вскочил. – Я их в Париже сделал. Чуть ли не каждый уголок Монмартра. Посмотрим?

Вернулись домой уже к вечеру. Мишка не пошел гулять, Татьяна тоже. Допоздна сидели втроем, включив торшер, и разговаривали о том, что таких вот интеллигентных, интересных людей постигла самая, наверное, страшная беда. Лучше, наверное, быстрая, внезапная смерть, чем так... Ведь не на что им больше надеяться – так или иначе, а всё идет только к худшему... Мама благодарила детей за то, что были на высоте, заметила, как они повзрослели за один сегодняшний день... И, сидя рядом на диване, в полутьме, в тишине (телевизор включить даже в голову никому не пришло), Татьяна, Мишка и их мама вдруг почувствовали по-настоящему, до желания крепко и надолго обняться, что они – одна семья, действительно родные, самые близкие друг другу люди... В последний раз они ощущали себя родными в тот день, когда

ушел отец. Но тогда это единство было трагическим, страшным, словно бы отец умер, а сегодня наоборот – словно кто-то родился или что-то они втроем нашли драгоценное.

И перед тем как разойтись и лечь спать, долго желали друг другу спокойной ночи, вроде бы направлялись к кроватям, но тут же возвращались, садились на диван, чтобы еще несколько минут побыть вместе...

Утро наступило поздно, оно было солнечным, горячий луч обжёг Татьяне лицо. Спросонок ей показалось, что это весна, а не поздний, сущий скорый снег, холод, сентябрь...

«Ну и что! – вскочила с кровати. – Пускай. Зато настоящее воскресенье».

Мама готовила завтрак. Пахло гренками.

– А давай «Наполеон» сегодня сделаем? – предложила Татьяна.

В первый момент на мамином лице мелькнуло привычное выражение усталости и досады, какое появлялось всегда, когда намечалось что-то необычное, сложное, но тут же оно сменилось на радость и воодушевление:

– Давай! Только за маргарином надо сходить.

– Я схожу.

– И молока купи – я «Наполеон» с молоком очень люблю. – И мама шутливо причмокнула.

Татьяна пошла умываться, и как раз в прихожей на тумбочке зазвонил телефон.

Телефон у них появился недавно. И неожиданно. Родители когда-то встали на очередь, потом очередь рассыпалась, часть людей отказалась от намерения получить телефон в квартире: разориешься на него. Да и куда вообще-то звонить? Друзья в пяти минутах ходьбы живут, с родней годами не общались. Разве что, не дай бог, в «Скорую» или в пожарку... Но вот однажды пришли монтеры и протянули тонкий прозрачный провод; мама сбегала в универмаг, купила самый дешевый аппарат за сто семьдесят рублей... С тех пор телефон по многу дней стоял, как простое украшение – ни мама, ни Татьяна, ни тем более Мишка не испытывали желания, да и просто не имели привычки куда-то звонить, чтобы поболтать... И потому от звонка, утреннего, заставшего по дороге в ванную, Татьяна растерялась.

– Алло? – спросила испуганным, глуповатым голосом.

– Доброе утро, – ответили тихо, почти шепотом, но внятно, будто говорили, прикрыв трубку и губы ладонью. – Таня?

– Да. А кто это?

– Это я, Славик. Слава. Прости, не выдержал и решил позвонить.

– А-а, – кивнула Татьяна, не зная, как реагировать, но обрадовавшись. – Хорошо.

– Чем занимаешься?

– Я? Да вот... только встала. В магазин надо...

– Поня-атно. – Казалось, и он не находил, что говорить или как. – Да... А я, знаешь, всю ночь не мог уснуть – лежал, прокручивал, как мы сидели, какие произносили слова. Это, оказывается, очень сильный эмоциональный удар, когда после одиночества вдруг так общаешься, взахлеб. До сих пор не могу успокоиться – какое-то такое дрожание внутри. Приятное.

– У меня тоже... почти, – произнесла Татьяна, переминаясь босыми ногами на коврике.

– Правда? А знаешь, Таня, у меня предложение. Вы с Михаилом первые мои знакомые здесь ребята, и я бы вас хотел попросить... Покажите мне места живописные, интересное, что у вас тут есть. Но такое, где людей поменьше. Понимаешь?... Что-то заchaх я в четырех стенах, чувствую – без пленэра совсем мне...

– Что? – не поняла Татьяна.

– Воздух нужен. Природа... Почему-то именно сегодня захотелось пейзажи писать или хотя бы посмотреть, найти. Солнце-то какое, а! У вас светит?

– Да, утро супер... Но я... Сейчас я с мамой поговорю... Я перезвоню сейчас, хорошо?

– Конечно, Таня. – Голос Славика улыбнулся. – Очень буду ждать.

Она вернулась на кухню.

— А что, сходите к монастырю, — посоветовала мама, — или на острова сплавайте. Лодка-то цела? Иди Мишку буди. Прогуляйтесь, и Славику очень полезно... Бедняжка.

Мишке сначала стонал и прятался под подушку, но в какой-то момент преодолел сон, вскочил, стал одеваться. Объявил, как решенный вопрос:

— На Монаший погоним! Он обалдеет... Только надо еще кого на весла.

Монаший находился в стороне от других островов; с пристани его даже не было видно — нужно обогнуть скалистую, похожую на разрушенную крепостную стену, косу и плыть на северо-запад. И постепенно, словно бы из-под воды, появлялись сначала синеватые пики елей, а потом и сам, похожий на большую кочку, Монаший остров... Татьяна была на нем всего один раз — прошлой весной они всем классом плавали туда на моторках после последнего экзамена. Жарили шашлыки, пели под гитару, парни рыбачили...

— Это же далеко очень, Миш, — сказала. — Как на нашей лодке туда? Давай на близкие.

Близкие — несколько маленьких, низеньких, заросших ивняком островков, — были всего метрах в трехстах от берега. Пацаны переправлялись туда играть в путешественников и войнушку, строили себе землянки, «штабы», мужчины ставили в укромных местах верши, случалось, кое-кто привозил полные ведра лещей, судаков, а то и пару-тройку стерлядок...

— И порыбачим там, — добавила Татьяна.

— Да ну. Если показывать, то Монаший надо. Там интересно. Колоду ему покажем, часовню.

— Какую колоду еще?

Лицо Мишки сделалось изумленным, чуть ли не возмущенным:

— Колоду не знаешь? Такая там лежит, как этот... ну, баобаб настоящий... Да там, — отмахнулся и продолжил одеваться, — много всего. И рыбалка кручे.

Татьяна позвонила Славику; договорились встретиться через час на пристани. Он действительно совсем не знал города — пришлось объяснять, как до нее дойти. До самого популярного у них места...

Быстро позавтракали, взяли с собой на всякий случай перекусить; с тортом решено было подождать до следующих выходных. Может, тогда пригласят и Славика с Верой Ивановной... Мишка надел отцовскую стройотрядовскую штурмовку с истертym шевроном, сунул Татьяне телескопическую удочку в чехле, сам взял весла.

— Осторожнее будьте! — сказала на прощанье мама.

Во дворе Мишка снова задумался:

— Блин, кого бы еще найти? Он-то грести навряд сможет.

— Почему это?

— Ну, видела же руки его? Он через пять минут выдохнется... И больной к тому же.

— Давай Саню тогда позовем.

Мишке остановился, посмотрел на Татьяну пристально и как-то вроде обиженно. Как младший брат, которому напомнили, что он младший брат... Они никогда не разговаривали о Сане, хотя считалось, что Татьяна его девушка. Мишке же это было на руку: сильный и авторитетный Саня явно его выделял среди молодняка, несколько раз заступался во время пацановских разборок; Мишка взрослел и солиднел, когда был рядом с Саней. Но сейчас Татьяна не могла не заметить: ему явно была не по душе их совместная поездка. Понятно, он хотел быть в ней главным. Но — дернул плечами, нехотя согласился:

— Ну, если хочешь...

Саня жил через пятиэтажку. Зашли.

— Звони ты, — подтолкнув брата к двери, сказала Татьяна.

Мишке что-то недовольно буркнул, нажал на кнопку...

Саня был дома, но заспанный и вялый.

– Здорово… – Жмурился и ежился, зевал, не открывая рта. – Чего случилось?

– Здорово, Сань, – ответил Мишка. – Эт самое… на Монаший поедешь?

– На фиг?

Теперь пришла очередь говорить Татьяне:

– Мы куда-нибудь сплавать решили, подальше. Вчера… в общем, с человеком одним познакомились… он недавно сюда переехал. Он художник, и он попросил показать…

– Что? – глаза Сани наконец, но резко, рывком, распахнулись, округлились даже. – С этим, что ли?! А?… Вы ч-что?

– Постой, – перебила Татьяна, – ты не понимаешь! Ему…

– Да понимаю я всё! Танька… Ну-ка, Мих, иди там… постой там внизу.

И Мишка тут же послушно и вроде бы даже с облегчением поскакал по лестнице. А Саня отвел Татьяну от двери, прижал спиной к стене:

– И чего? Дружка нашли этого?… Дода этого? Офиг-геть!

– Да перестань! Хватит! – Она совсем не ожидала, что Саня вдруг так… как с цепи сорвется. – Так нельзя. Он – несчастный человек. Что, камнями таких теперь закидывать?

– А что ему надо? Что он?… – Саня словно бы что-то вспомнил или о чем-то догадался:

– Он там тебя ждет? – И дернулся побежать вниз; Татьяна схватила его за запястье, отметила, какая не по-живому твердая, как дерево, у него рука.

– Нет, он дома. Мы его пригласили на остров, чтоб… Он художник.

– Спишник, блин… художник! – зло хмыкнул Саня и снова уставился на Татьяну, привязав ее к стене глазами… Казалось, вот-вот ударит. И она почувствовала, как теряется, тает ее уверенность в себе, подаренная солнечным утром детская радость… И лицо Сани было сейчас таким отвратительным, почти уродливым и одновременно – притягивающим.

…У них были странные отношения. Жили рядом, играли на одних детских площадках, учились в параллельных классах: она в «б», а он в «в». Сначала Саня проявлял к ней внимание, гоняясь на переменах, но оберегая от других мальчишек; классе в четвертом стал провожать ее домой, даже портфель предлагал понести, угождал печеньками и яблоками, но потом это прекратилось – у него появилась своя пацанская компашка («толпа», как ее называли), и девчонок там принципиально не замечали…

В восьмом классе, когда их стали пускать на субботние школьные дискотеки в актовом зале, Саня пристраивался к ней танцевать, но на медленные танцы не приглашал – это было не принято у них, у таких пацанов, медленные танцы в обнимку… По вечерам они иногда сидели на скамейке во дворе вместе с другими парнями и девчонками. Пели песни с матерком или старую «В нашу гавань заходили корабли», выпивали за вечер на всех две-три бутылки пива… Несколько раз, доведя Татьяну до подъезда, Саня целовал ее в щеку. Неловко, неумело – скорее больно, чем приятно… И это продолжалось уже больше трех лет – общие со всеми танцы, общие со всеми посиделки во дворе, редкие и малоприятные чмоканья-тычки на прощанье. Одно и то же… Внешне он превратился в здорового, почти взрослого парня, а поведение осталось, как у тринадцатилетнего; он будто не замечал, что Татьяна ждет большего. А они даже никогда не разговаривали нормально наедине, не гуляли, а лишь перебрасывались какими-то короткими, мелкими фразками…

И сейчас, глядя на него – на ее глазах, вместе с ней выросшего, которого все (и она сама) считали ее другом, но с которым, как она только сейчас ясно поняла, ее ничего не связывает и, может, еще много лет ничего не свяжет, – который сейчас стоял перед ней и, вместо того чтобы что-то сказать важное, нежное или повелительно-жесткое, просто прижал ее к стене, расставив ручищи, тяжело, словно пробежав три километра, дышал, она вдруг разозлилась:

– Всё, не хочешь – не надо! И пусти. Всё! – Оттолкнула одну из рук-дубин. – Он нормальный человек, с ним беда случилась… С ним говорить интересно!

– Ну да!

– Да! – еще сильнее распалилась Татьяна. – И рисует классно!.. Ему надо помочь. Человек не может один.

– Ага!

– Вот, только агакать и можешь. – Она стала спускаться.

– Погоди!

– Что?

– Не надо с ним... Погоди, я оденусь и щас пойдем куда-нибудь... Давай в «Лакомку»? У меня башли есть...

«Лакомка» было лучшим кафе в городке. Но кафе не для взрослых. Там продавали вкусные заварные пирожные, в стеклянных холодильниках-витринах стояли лотки с разноцветным мороженым; детям там устраивали дни рождения... Татьяна громко фыркнула. Побежала вниз, шелестя по бетонным ступеням подошвами кроссовок.

Славик стоял на пирсе; всегдашний ветер с озера раздувал его длинные густые волосы, шевелил полы черного, совсем не для похода пальто. К ноге была прислонена деловая сумка с кармашками и молниями.

– Приве-ет! – увидел их, обрадованно махнул рукой. – Я здесь!

– Как в театр собрался, – поморщился Мишка.

Подошли, поздоровались за руку. Пальцы у Славика были длинные и подвижные, и, когда соединились с пальцами Татьяны, как-то легко с ними переплелись, но тут же выскоцили, исчезли.

– У нас лодка там, – мотнул головой Мишка в сторону кособоких крошечных сараюшек; всю дорогу сюда он помалкивал, ни к кому заходить больше не предлагал, да и у Татьяны настроение после стычки с Саней подпортилось...

Растащив в стороны просевшие воротца, Мишка вытянул за цепь к воде четырехместную стареньющую дюральку. Цепь ссыпал на дно.

– Червей только копну – и поплырем. – С консервной банкой, развалисто, он направился к сваленным в кучу трухлявым доскам и обрывкам толя.

Славик сладковато вздохнул.

– Да-а, красиво у вас. Необычно по крайней мере... А летом жарко?

– Да нет, – пожала Татьяна плечами, – не особенно. С воды надувает...

– Вот это замечательно! Я жару, признаюсь, не переношу. Сразу плохо становится.

Голову как будто горячий обруч сжимает...

– У-у...

– А мы на этот архипелаг отправимся? – показал Славик в сторону островков.

– Нет, Мишка решил на Монаший. Он там... Отсюда не видно.

Татьяна всё посматривала в сторону города – со страхом, но и странной надеждой, ждала, что вот-вот появится Саня. И что-то произойдет. Настоящее.

– Ну чего – садимся, – по-взрослому грубою бросил Мишка, столкнув лодку в воду, – часа два плыть, а уже обед.

Грести Славик, как они и думали, не умел. Когда все же решил попробовать, лодку стало водить, она поворачивала то вглубь озера, то обратно к берегу; передохнув, Мишка снова занял место на веслах.

– А мотора... ф-фу-у... мотора нет? Я видел, на таких лодках с мотором... летают, – сказал Славик, загнанно отхихиваясь.

– Хорошо хоть лодка есть, – бормотнул Мишка. – Батя еще купил.

Татьяна решила объяснить:

– Мотор продать пришлось. Да и таскать его туда-сюда... Он очень тяжелый.

– Не в тяжести дело, – перебил брат, равномерно, но резковато толкая воду веслами.

Было тихо и пусто в воздухе, как это часто бывает осенью в хорошие дни... Брошенной таинственной крепостью казались сейчас старые, на высоком каменном фундаменте склады, как какой-то разбитый броненосец, чернела у пристани полу затопленная баржа; кое-где на глади озера застыли рыбаки с удочками. Вдалеке над одной точкой – над мертвой или большой рыбиной – суетились, но почему-то молчком, без криков, чайки... А высоко в небе дул, видимо, сильный ветер: мелкие хлопья туч мчались куда-то на юго-запад и то и дело заслоняли горячее солнце. И вода то искрилась и казалась прозрачной, доброй, то в один миг превращалась в почти черную, густую, тяжелую, как гудрон. Но тучи сдергивали с солнца – и снова вокруг веселело...

– Красиво как, – вертя шеей, щупая и запоминая окружающее, всё повторял Славик. – Озеро большое, да? Даже берегов не видно.

– Еще б! – гордо усмехнулся Мишка. – Самое большое по области... Это, Рыбинское, больше, конечно, но оно-то не настоящее, а наше... Наш город – в курсе? – один из самых старых вообще в России.

– Да? – недоверчиво, с полуулыбкой удивился Славик.

– Ну да. Киев, Новгород, Ростов, а потом наш где-то в то же время. Даже Ярославля еще не было!

– Интересно. Надо историю полистать...

Мишка положил весла на борта, с удовольствием морщась посжимал пальцы, покрутил плечами. Сказал совсем уже взрослым, старожильным голосом:

– У нас музей есть, там много про историю... Только город по-другому тогда назывался.

– А как? – Славик был похож на неопытного журналиста, которому дали вдруг сложное задание; Татьяна видела, что ему страшновато в маленькой, ненадежной лодочке вдали от берега. «Плавать, наверно, тоже не умеет», – подумала... Или это свое тревожное состояние она передавала ему?...

– Раньше Светлоозеро назывался. Это на многих картах... Потом уже, при Екатерине Второй, в Заволоченск зачем-то переделали.

– Мишка у нас самый специалист по истории, – вставила Татьяна. – По двум предметам пятерки сплошные – по физре и вот по истории...

– Ну, – Мишка смущенно хмыкнул, – надо ж знать, что раньше делалось.

Помолчали. Лодку медленно сносило к берегу незаметным течением... Славик всё оглядывался, глубоко, сладковато дышал. Татьяна словно бы его глазами увидела привычную ей, бескрайнюю гладь воды, близкие островки, напоминающие сбившихся в кучу ежей, покрытые ельником сопки, обступившие город, еле различимую отсюда стену монастыря, где когда-то, по преданию, несколько дней прожил Андрей Рублев...

– Светлоозеро, Беловодье, Лукоморье, – мечтательно произнес Славик и странно, обожгающе глянул на Татьяну. – Сказка наяву.

От этого взгляда или от голоса у нее запершило в горле; она быстро отвела глаза...

С того момента, как увидела его на пирсе, она, неосознанно, постоянно наблюдала за ним, ловила и замечала каждое движение, изменение выражения лица, вслушивалась в голос и сравнивала, сравнивала его с Саней. Да, не специально, не намеренно, даже не понимая, что сравнивает... И Саня вспоминался ей сейчас одним и тем же – прижалым ее к стене, раскрячивающим свои большие тяжелые руки; перед ней стояло его лицо, припухшее, распаренное долгим сном, покрытое на щеках и подбородке светлыми, почти прозрачными, тонкими волосками. Глаза зеленоватые, округлившиеся, а в уголках, у переносицы, – комочки сухих заспанок. И, будто можно потрогать, отпихнуть, торчала его розовая, толстая шея, какая-то слишком толстая и мощная, с бугорками мышц, похожая на комлистое ошкуренное полено. Из-под летней, без рукавов тельняшки выбился коричневый шнурок крестика... А в ушах неисчезающим эхом повторялось одно и то же, отрывистое, почти лающее: «Вы чо?! Чо?...»

Она оборачивалась к берегу, щурилась, напрягая зрение, и уже радовалась, что не видно сзади лодки с Саней, что он не догоняет их, чтобы устроить свои разборки: «Вы что?! Что такое?!»

Мишка завел дюральку в узкий заливчик с обрывистым, но невысоким берегом, выпрыгнул, обмотал цепью истертый, видимо, часто используемый для привязи ствол березы. Ловко поймал веслом борт, притянул лодку к себе. Велел:

– Выгружайтесь.

По узкой, натоптанной тропинке между елей с сухими нижними ветвями пошли в глубь острова. Мишка с веслами уверенно впереди, Славик с сумкой на плече за ним, а сзади Татьяна, держа в одной руке удочку и червей, а в другой пакет с едой.

– Как холм, да? – заметив, что приходится все время подниматься, спросил Славик.

– Угу. Даже в самые наводнения не затопляет...

На вершине острова была поляна. Крохотная, почти скрытая обступавшими ее деревьями. На поляне – черное пятно кострища, рядом – несколько закопченных поломанных кирпичей, обугленные сучки... В метре от кострища лежал на боку покрытый снизу мхом и лишайником, зато отполированный поверху чуть не до блеска огромный чурбан – знаменитая колода.

– Глядите, – в голосе Мишки послышалось уважение и гордость, – чудо какое.

– В смысле?

– Ну, колодина... Вот как она здесь оказалась хотя бы? Здесь и таких деревьев нету. – Мишка кивнул на ближние ели; стволы самых крупных можно было легко обнять. – Да и не елка это – листвяк вроде бы... И как пилили ее?

– Пилой, как же еще. Такой... – Славик наморщил лоб, вспоминая, – пилой бензиновой. Нет?

– Бензопилой? Да колода тут всегда была, говорят. Сперва на попа стояла, а потом опрокинули, чтоб сидеть.

Славик подошел, поковырял ее ногтем – как каменная.

– М-да-а, – то ли сделал вид, то ли искренне разделил удивление Мишки, – интересно... Слушайте, а давайте костер разведем! У меня купаты с собой, сыр, мерло настоящего бутылочка. Устроим пикник, хм, на обочине... Только надо придумать, на чем купаты жарить – барбекюшницы нет, к сожалению...

Но перед костром Мишка показал остатки землянки – углубление на краю поляны с торчащими из него изгнившими бревешками – и маленькую деревянную часовенку рядом. В нишу под ее кровлей была вставлена покрытая пылью, с засохшими потёками грязной воды, икона – какой-то седовласый святой в белой одежде с черными крестиками...

– Вот тут вот монахи и жили, – объяснил Мишка. – Их трое было. Когда можно стало, наши часовню собрали.

– А когда они жили?

– В тридцатых. Монастырь закрыли когда, они сюда переправились. Одну рыбу ели...

Славик медленно покачал головой. Вид у него был, словно стоит перед могилой незнакомого человека в окружении его родственников... Погрустил и оживился:

– Смотрите, деталь интересная, – показал на россыпь почерневших, почти незаметных в низкой, засохшей траве и хвоинках, щепок возле часовенки, – целым сюжетом может стать для картины. Символом.

– А?

– Вот стоит произведение искусства, прекрасная постройка, а вокруг валяется лишнее – отброшенные при ее создании частицы. Понимаете?

Мишка и Татьяна промолчали.

— Гм!.. Как бы объяснить нагляднее? Понимаете, когда эти столбики, доски, щепки, стружки были все внутри дерева, ничего не было лишнего. Было живое гармоничное творение природы. А теперь... — Славик подобрал несколько свернувшихся, пористых стружек, размял их пальцами. — Часовня построена, она простоят еще, может, двести лет, а они — это лишнее — через два-три каких-нибудь года окончательно превратятся в прах. Исчезнут. В-вот... Я к тому, что какая-то несправедливость в этом...

— Что же поделать, — отважилась подать голос Татьяна — захотелось сострить, — говорят же: искусство требует жертв.

Ей тут же стало стыдно за свое неловкое остроумие, и в душе она ругнула себя. Отвернулась.

— И искусство, — услышала горестный выдох Славика, — и вообще развитие цивилизации. Справились с чумой — появился тиф, заглушили тиф — новое. Эт цетэра, эт цетэра... — И совсем другой, мгновенно повеселевший голос: — Ну что — теперь за костер, друзья?

Набрали сучьев, шишек, наломали сухих березовых и еловых веток и разожгли на старом кострище огонь. Колбаски-купаты нанизали на прутья молодой ивы. Стали поджаривать.

— И что случилось в итоге? — спросил Славик, сняв пальто и усевшись на корточки. — Расстреляли?

— Кого?

— Монахов, которые здесь прятались.

— Да нет, — Мишка пожал плечами, — сами умерли. Никого к себе не пускали, даже кто в бога верил. Говорили, что все антихристу продались. Ну а потом умерли. Они недолго тут были — замерзли, вроде. Да и не ели ничего, рыбу одну.

— Понятно, пассивный протест. — Помолчав немного, медленно повернувшись с купатами, Славик заметил: — И мошки нет... А знаете, я всё удивляюсь, не могу понять, как на острова попадают семена растений, насекомые... Я этот не считаю — он близко, так сказать, от материка, да и вода пресная, а например, остров Пасхи. Слышали про такой? На тысячи миль один-одинешенек в океане, а и деревья были, и животные. И люди как-то туда попали... Интересно, да?

— Вообще всё интересно, — согласился Мишка. — Всякая мелочь, если над ней задуматься...

— Вот-вот!.. Так хочется долго жить, читать, думать, загадки разгадывать... Я иногда раскладываю карту мира на полу и смотрю по полдня. Такой ведь мир огромный, разный, а я почти нигде не бывал, ничего не видел, в сущности... Я очень, признаюсь, не любил такого художника... его зовут, звали точнее, Константин Васильев. Он северные пейзажи в основном писал, людей таких, из былин, с огромными голубыми глазами... богатырей... А вот сегодня понял, что есть еще уголки, — Славик тепло взглянул на Мишку, на Татьяну, — и люди... Действительно, былинное что-то. И это — прекрасно.

На Мишкиной штормовке разложили сыр, печенье, хлеб, вареную картошку, огурцы. Открыли вино. Наполнили маленькие, взятые Славиком, хрустальные рюмочки. Вкусно пахло дымом, соком купатов; было тихо и неподвижно вокруг...

— Спасибо, ребята, что привезли сюда, — перед тем как чокнуться, произнес Славик. — У меня сегодня истинный праздник. Честно говоря, только познакомившись с вами, я здесь жить начинаю. Три эти месяца, как во сне... В тяжком сне.

То ли после окрика Сани, или устав работать веслами, Мишка был неразговорчив и мрачноват. Татьяна тоже больше молчала — ее все сильнее беспокоило чувство, которое начинала испытывать к этому юноше. Из брезгливости и осуждения, когда была с ним незнакома, через вчерашний интерес и сострадание, оно перерождалось сегодня во что-то новое. И как раз благодаря неприятному разговору (если это можно назвать разговором) с Саней в подъезде...

Сейчас ей хотелось, даже ощутимо что-то тянуло, подталкивало, взять и пересесть ближе к Славику; ей не надоедало слушать его, нравилось, что он говорит, а больше – как... За свои шестнадцать лет она никогда еще не чувствовала такой странной, пугающей тяги к малознакомому, да вообще-то незнакомому еще человеку, тем более – к парню. И то, что он совсем другой, непохожий на всех, кого она знала, видела в их городке, что он обреченный, понимающий, что скоро умрет, только усиливало его притягательность... Она сердилась на какую-то новую, вдруг появившуюся часть в себе, на него, что он такой, что он ей встретился. Но это не помогало. Наоборот...

– А завтра, кстати, у меня намечается очень важный, быть может, переломный день, – сообщил он, светлея и оживляясь все сильнее. – Завтра отправляюсь на беседу с директором лицея... Два месяца обсуждали мою кандидатуру на должность преподавателя, и – в-вот, кажется... Очень надеюсь, что наконец-то... Они видели слайды с моими работами, мое резюме, и, по всем признакам, впечатлило. Единственное, конечно, что пугает – мой крест... И никакими испанскими прыжками его не сбросишь. Он навсегда.

– М-м, – вырвалось у Татьяны, и она скорее запила этот полувино-полустон вином. А Славик загорчился, словно бы доказывая кому-то, какому-нибудь директору лицея:

– Но, понимаете, это ведь собственно и не болезнь. У человека при ВИЧ понижается иммунитет, и можно умереть от чего угодно – от гепатита, от пневмонии, от гриппа даже бывает. А большинство... большинство людей, получивших вирус, остаются просто носителями. Да. Они и не подозревают об этом – считаются здоровыми и полноценными. У них, – он едковато усмехнулся, – у них всё нормально. Как все... А мне не повезло, меня, так сказать, обнаружили, и вот теперь я изгой. – Покачал головой, глядя на огонь, и тут же встряхнулся, глаза блеснули, как будто он увидел то, что может спасти. – Но, знаете, я стал понимать, что это, наверное, даже к лучшему. Дано мне на высшее благо! Гоген, Мане, Ван Гог, Лотрек, еще десятки великих болели страшной, позорнейшей болезнью. Неизлечимой тогда болезнью. И – творили. И болезнь помогала им в творчестве. Понимаете? Благодаря болезни происходит обострение восприятия. Болеть даже необходимо. Это Паскаль сказал, кажется... Благополучных гениев не бывает. Да!

Славик рванул сухую траву, бросил на угли затухающего костра. Травинки изогнулись, съежились, как живые, и вспыхнули; потом покернели, рассыпались...

– В последнее время я очень много читаю. И столько всего, оказывается, столько проблем... Вот смотрите – ведь в обычной жизни нашей... – Славик запнулся. – Извините, я такую тему затрону... Вот явно существует какое-то презрительно-ироничное отношение, скажем, к геям, к лесбиянкам, трансвеститам. Так? В шоу-бизнесе этим играть пытаются, превращают в клоунаду настоящую. Верка Сердючка сплошная... А ведь это – это ужасная гендерная проблема! Да-да! Оказывается, столько по-настоящему несчастных людей – они не могут понять, мужчины они или... гм... или нет.

Мишке сдавленно хмыкнул, Славик не обратил внимания:

– По всем внешним признакам он, так сказать, стопроцентный мужчина, а внутренне, даже не психологически, а еще глубже, – женщина. У него...

– Да как это? – не выдержал, перебил Мишка. – Таких, ну этих, их сразу можно вычислить.

– Минутку. Сейчас. – Славик, мягко и грустно улыбаясь, взял бутылку, аккуратно наполнил рюмочки. – Как это ни фантастично звучит, но ученые не так давно выявили у человечества не два, а пять полов. С одной стороны, да, мужской пол, с другой – женский, а между ними три промежуточных... И к ним, к этим промежуточным полам, относится около сорока процентов людей на Земле. Представляете, какая огромная цифра? Около сорока процентов!.. Странно, да? Но – правда.

– Хе... Хе-хе! И что, сорок процентов, что ли, таких? – И Мишка состроил смазливую гримасу. – Как-то это...

– Нет, дело сложнее. Внешне это выражается у единиц, но на генном уровне... Это сложно понять и им самим – многие создают традиционные семьи, рожают детей, пытаются вести нормальную жизнь. То есть такую, какая принята. Понимаете? Традиционную. И их жизнь становится мучением, потому что психологически всё это им совершенно чуждо. Им требуется... организм требует совершенно другую модель взаимоотношений, другого партнера...

Татьяна молчала, ей хотелось сделаться незаметной, невидимой, спрятаться; вопросы, протесты, горячие и лихорадочные, у нее, конечно, были, даже съязвить тянуло, но она чувствовала – не стоит, нельзя. Да и эти дикие вроде бы, страшные слова Славика оказывались не так уж дики, если вспомнить, что показывают по телевизору, что иногда встречалось ей в газетах, в журналах. Да и в жизни – правда, в основном среди женщин. Мужеподобных теток в их городке хватало...

– И очень быстро, по эволюционным меркам, происходит биологическое изменение человечества, – неспешно, размеренно, как-то учено-безжалостно продолжал говорить Славик. – К концу двадцатого века, недавно узнал, гормон, который определяет мужскую принадлежность, у молодых мужчин в мире составил в среднем меньше пятидесяти процентов. А норма – не ниже восемидесяти. И через сто пятьдесят тысяч лет мужчины вполне могут исчезнуть...

– Кхе, – снова хмыкнул Мишка, – интересно, а у братьев Кличко сколько этих гормонов. Наверняк – за сто.

– А может быть, и пятидесяти нет, – отозвался Славик. – Понимаешь, Миш, внешне человек может выглядеть безупречно с точки зрения половой принадлежности, а на генном – генном! – уровне... – Он взглянул на Татьяну и замолчал; на лице мелькнул испуг, и тут же появилась жалковатая, извиняющаяся улыбка. – Совсем вас запугал, запутал! Ересь несущаяся... – Поднял рюмочку. – Всё будет отлично. Тем более – в ваших заповедных краях!

От впечатлений вчерашнего дня или от вина – алкоголь она пробовала еще считанные разы – спала плохо. Что-то постоянно снилось, тревожило, тормошило, но треск будильника стёр кошмары, оставив лишь нехорошее ощущение...

Зевая и дрожа от озноба, Татьяна вяло оделась, выпила чашку чая, с трудом, чувствуя тошноту, съела бутерброд с сыром, собрала сумку и пошла в школу. Мама, занятая сборами на работу, слава богу, не заметила ее состояния, не приставала, только посоветовала взять зонт: небо всё в тучах... Брат, как всегда по утрам, был ершистый и злой.

Кое-как отсидела первый урок. На перемене ходила по коридорам, высматривала Саню – почему-то очень нужно было его встретить, может, услышать от него пускай обидные слова насчет вчерашнего, зато искренние. Сильные, чтобы внутри что-то прорвалось, какой-то горький пузырь, появившийся вчера, взбухший за ночь... Но Саня не встретился. Прозвенел звонок.

На следующей перемене она забрела за спортзал, где пацаны обычно курили, базарили, иногда выясняли отношения «до первой крови»; на нее посмотрели как-то странно – как ей показалось, враждебно и с опаской, как на завуча. Сани среди пацанов не было... И Татьяна пошла домой. Сидеть и слушать учителей было муторно, а отвечать у доски, решать задачи, расписывать всякие химические цепочки она, кажется, при всем желании не смогла бы. Голова была тяжелая, и что-то давило, росло там непонятное, ядовитое. Хотелось уснуть. Глубоко, надолго. И проснуться такой, как вчера. В воскресенье.

Комната увиделась другой – тесной, неприятной, захламленной, заросшей вещами. Вдруг бросились в глаза давно примелькавшиеся вещи, родные, но за которые стало бы стыдно, окажись здесь посторонний. Ее детские рисунки на стенах, постер Сергея Бодрова, висящий на

дверце шкафа лифчик, старенькая, жидкоколосая, когда-то любимая и драгоценная Барби на письменном столе под лампой... Захотелось немедленно наводить порядок, выбросить или запрятать подальше ненужное в ее взрослой жизни или слишком личное... Но сил не было.

«Грипп, что ли, начинается?»

Не переодеваясь, в свитере и юбке, она легла на кровать. Полежала без движения, почувствовала сырватый озноб и вытянула из-под себя покрывало. Накрылась. Вжалась в подушку голову... Было обидно, что вчерашний, не то чтобы очень приятный, светлый, но уж точно необычный, останущийся навсегда в памяти день сменился таким – невыносимо тоскливым, когда места себе найти невозможно, вдыхать-выдыхать тяжело. И не понять, из-за чего...

Постель стала вдруг колючей, пыльной. Казалось, полежи в ней еще минуту, и задохнешься.

Вскочила. Тянуло куда-то... Сначала утянуло из дома в школу раньше времени, потом – из школы домой, теперь тянуло опять. Куда? Зачем?... Да, такого с ней еще не было...

Прошла от кровати к окну. Шторы висели по его краям морщинистыми длинными тряпками, и окно казалось огромным, таким, что запросто можно выпасть... За ним – буро-вато-оранжевое, как мокрая дресва, небо, пыльно-белая пятиэтажка напротив. Внизу, между домами, два ряда бетонных гаражей и детская площадка. Турник, катушка, песочница давным-давно без песка, качели, «черепаха», чтобы лазить... На качелях, на этих именно, Татьяна очень любила качаться.

Она знает их с тех пор, как себя помнит. Когда-то ее поддерживали родители, мама или отец, осторожно двигая влево-вправо железную ручку-трубу, а потом, постепенно, она сама без боязни стала забираться на них... Иногда она видела, как парни качают девушек, а те смеются счастливо, вскрикивают, и ей в такие моменты становилось не по себе. Какая-то злость появлялась. Недавно она поняла, что и ей хочется, чтобы ее так же качал парень... Саня этого никогда не делал, даже если она, сидя уже на качелях, притворялась, что не может раскачаться сама...

– Снег, наверно, пойдет, – чтобы отвлечь себя, с расстановкой, внятно сказала Татьяна, и на минуту стало легче, жизнь как будто вернулась; она решила включить верхний свет, переодеться в домашнее и – начать. Пойти на кухню, заняться готовкой. Сделать что-нибудь вкусное, сложное, до чего у мамы никогда не дойдут руки. Что-нибудь необыкновенное. Мама и Мишка придут и удивятся. Накроют стол по-праздничному.

Бодро пошла к стелле, где лежал халат, но заметила свое отражение в зеркале. Остановилась, приглядевшись. Сейчас, в сумраке, можно было решить, что она очень красивая. Таинственно темнеют впадины глаз, волосы, вообще-то цвета подопревшей травы, сейчас темнорусые, распущены и прикрывают крупноватые уши, широкие дуги скул. Талия кажется тоньше, а бугорки грудей наоборот – выделяются. Но если включить свет...

В их городке вообще большинство людей чуть ли не одинаковые; будто одно какое-то племя. Невысокие, плотные, пеговатые, глаза у многих до того светлые, даже жутковато становится – будто бельма на них... Таких красавиц жгучих, что каждый день показывают по телевизору, печатают на календарях, в журналах, не встретишь.

Однажды, давненько уже, она прочитала где-то, что самые красивые люди получаются от родителей разных национальностей, рас. Там в пример приводили Бразилию, Таиланд, Францию, Швецию. А народы, как было написано, ведущие замкнутое существование, в конце концов вырождаются... В их городке приезжие появлялись редко; до нормального города и железной дороги – три часа тряски в автобусе. Дорога в кочках вся, а вокруг болота, полумертвые березки торчат... Да и что у них тут делать?... Мишка гордится, что до них татары не дошли – свернули на запад километров за сто всего от Светлоозера. Но, может, нечем тут особо гордиться...

Татьяна мотнула головой, фыркнула, злясь на себя за такие мысли, за какое-то лихорадочно-безвольное, странное, невыносимое состояние. Быстро вышла из комнаты.

Вместо того чтобы повернуть направо, на кухню, и посмотреть, какие там есть продукты, зашла в комнату Мишки и взяла их общий, на двоих, магнитофон. Принесла к себе, включила в розетку, машинально нажала кнопку «пуск».

Под еле различимый гитарный перебор застонал голос молодого парня:

Крутит война колесо,
Бросает жребий беспечно.
А смерть, это тот же сон,
Только намного крепче.

Татьяна скорее ткнула в «стоп». Она не любила этих солдатских и зэковских тоскливых песен. Обязательно в них про смерть, про недоступную свободу, про любимую, с которой никогда больше не встретишься... И парни их городка с детства готовились то ли к войне, то ли к тюреме – качали мускулы, дрались, стриглись почти налысо, проявление нежности считали позором. И Мишка таким же становится, и Саня такой же, даже один из самых таких. Бугор в толпе...

Покопалась в своих кассетах, но ничего подходящего не нашла. Везде одно и то же. И в жизни... Что-то счастливых людей она и вспомнить не может, у всех всякие неприятности, нервотрепки, беды... В их семье хотя бы... До поры до времени была хорошая, дружная семья, а потом... Отец взял и уехал, сбежал, а маме уже сорок с лишним. Что ей теперь? Одинокая, двое детей. И не на что ей надеяться... А у Веры Ивановны где муж? Может, да наверняка, бросил их со Славой, когда узнал, что с сыном случилось... И девчонки в классе – то одна, то другая ноют, какие они одинокие, как парни, которые им нравятся, то посмотрят приветливо, то потом по неделе внимания не обращают...

И снова потянуло, повело открыть дверь, побежать, кого-то увидеть, найти... «Да кого тебе? – с неискренней, не от души, издевкой спрашивала себя Татьяна. – Кого тебе надо всё?» И шарила глазами вокруг, пытаясь за что-то зацепиться, отвлечься... Нужно найти Саню и сказать. Наорать, чтобы понял... Или... Да что он?... Снова вышла из комнаты. Вот стоят под вешалкой ее сапоги с твердыми, торчащими вверх голенищами, висит куртка... И где она Саню найдет? Дома? Опять в подъезде разбираться... Или у школы его караулить, как этой?... Нет, нет, переждать надо. Успокоиться, заняться... Уснуть бы.

Увидела телефон и попятилась, чтоб не снять трубку... Странно, но она очень легко, с первого раза запомнила номер. Вчера утром услышала пять цифр, и они отпечатались в голове... И ведь это так легко, даже приятно – покрутить диск и услышать мягкий, приятный голос, слова, и тоже сказать то, что очень нужно сказать, но до сих пор было некому...

Спряталась в комнате. Подошла к окну. Небо все так же висит тяжелыми мокрыми горами дресвы, готовое вот-вот рухнуть вниз. Детская площадка пуста, и вообще нигде не видно ни одного человека. Все попрятались.

– Нужно... выпить... чаю, – сказала отчетливо, велела себе, а сама торопливо сообщала, что велеть еще, чтобы забыть... – Х-ха, забыть! – сморщилась. – Да уж, забыть! Забыть – самое мудрое. Забыть – и всё. – И громко, зло запела: – Нич-чего не вижу, нич-чего не слышу!..

А если так – если уехать? Собрать сумку, сесть в автобус и к отцу... Череповец, не их две улицы, один светофор. Большой город, много-много людей. И все незнакомые, и она... Как-то в конце лета отец прислал ей письмо – написал, что после окончания школы она может приезжать и поступать, он ей поможет; даже жить у него, если возникнет необходимость... Но ведь там его новая жена, ребенок, ради которых он бросил ее и Мишку, маму... И Татьяну передернуло, в горле булькнуло что-то горькое, маслянистое. Захотелось плюнуть.

Хотя отчего-то же отец уехал. Не просто что другую, моложе, встретил...

— Так! Всё! Нужно чаю! — отрывисто повторила она. — И сделать вкусный ужин. «Наполеон»... — Щелкнула выключатель.

Зажглась люстра с тремя лампами. Сразу стало живее, уютнее. Татьяна схватила свитер за подол, потянула вверх... Почти сняла, освободилась, но петли зацепились за заколку, больно рванулись волосы.

Она вскрикнула скорее не от боли, а с досады, кое-как разомкнула, вытащила заколку. А близко, у самых глаз качались оранжевые клеточки, щекотали лицо шерстинки... И в какой-то момент захотелось стоять так долго-долго, с натянутым на голову свитером, следить за качающимися квадратиками петель, разглядывать комнату через эту оранжевую сеть... В детстве она любила, лежа на кровати, играть своими руками, изображая деревья, змей, зверюшек, самолет, человечков или, прикрыв глаза, оставив совсем узкие щелки, смотреть на горящую лампочку или на солнце. И в щелках дрожали светлые разноцветные жилки, вспыхивали искорки, будто она видела струи фонтана изнутри него... Ни о чем плохом тогда не думалось, вообще ни о чем не думалось, мысли исчезали — казалось, что улетаешь в теплый светлый туннель, растворяясь в искорках.

...Нашла в холодильнике размороженный кусок мяса; картошка с красной шелушащейся кожурой была в корзине под газовой плитой. Решила ножарить картошки с мясом и луком в большой сковороде. Не ахти какой изыск, но будет вкусно. Еще бы помидор добавить, но его нет, и ладно. Вприкуску с солеными огурцами... Взяться за торт решимости все-таки не хватило. На выходных.

Постепенно увлеклась готовкой, с удовольствием резала мягкую недешевую свинину, скоблила молодую картошку. И вздрогнула, точно ее толкнули спящую, когда зазвонил телефон. С неохотой пошла в прихожую — никого уже не хотелось слышать; лучше всего, если бы просто вернулась мама с работы, прибежал Мишка, и они бы сели в большой комнате, накрыли стол, включили бы телевизор. Какой-нибудь интересный фильм...

Не удивилась, не испугалась, когда услышала заикающийся от волнения, запорошный голос мамы:

— А... алё? Алё, Таня??
— Да, мам.
— Таня, ты дома?
— Ну да.
— Слава богу... Таня, ужас-то какой! Та-а-а-а...

Она чуть не отозвалась досадливым: «Ну какой еще?» Но смолчала. В правой руке держала трубку, в левой — нож и картофелину. Смотрела на календарь над тумбочкой и только сейчас заметила, что он прошлогодний. Уже сентябрь, а висит и висит... И менять как-то поздно.

— Таня, ты ведь не знаешь!.. Славика... прямо в подъезде его!.. Слышишь? Прямо в подъезде избили! И сильно... всю голову!.. Вера Ивановна побежала, а я... Таня... Таня, ты слышишь?!

— Да, мама, — с трудом отрываясь от своих мыслей, сказала она.
— Вот ведь люди, а! Хуже волков стали... Только начал оживать, только хорошее впереди появилось... О-ё-ё-ёй!.. А Мишка-то дома?
— Нет.
— Го-осподи!..
— Да гуляет где-нибудь. Он же всегда после школы...
— Придет, ты его никуда не пускай. Пускай дома... Слышишь?
— Да... Приходи скорей. Я ужин вкусный готовлю.

Мелочи

Юрий Андреевич почувствовал это довольно давно. Сначала оно слабенько, приятно щекотало, согревало, потом, особенно по вечерам, когда уже ложился спать, стало жечь и царапать. И вот вчера прокололо. Как боль в позвоночнике.

Он нашел папку с нотной бумагой, полистал сухие, шершавые на ощупь, уже начавшие желтеть листы. Положил обратно в шкаф. Завтра утром приступит... Завтра нужно пораньше встать, а для этого сегодня пораньше лечь.

И, посмотрев выпуск новостей в двадцать два часа, Юрий Андреевич стал раскладывать диван.

– Ты уже? – удивилась жена.

– Да, что-то лечь захотелось.

– У тебя все нормально? – она посмотрела внимательно. – Как себя чувствуешь?

– Все нормально, – слегка раздражаясь, сказал Юрий Андреевич. – Просто... – И, не желая называть причину, слегка соврал: – Усталость просто.

Жена покивала:

– Да-а, пятница, конец недели... – Добавила бодрее: – Завтра суббота. Ложись, дорогой.

Я еще посижу, хорошо?

– Ради бога.

Жена погасила большой свет, убавила громкость телевизора. Юрий Андреевич отвернулся к стене, накрылся с головой одеялом. Стало уютно, защищенно, и, как когда-то в детстве, подумалось: скорей бы наступило утро... Впервые за много-много лет он ждал завтра необычного дня. Огромного, свежего, который останется в памяти...

Вообще-то он был доволен своей жизнью, складывающейся из благополучно спокойных, без неожиданностей и встрясок, дней. Все шло своим чередом. После десятилетки Юрий Андреевич отслужил в армии, почти все два года – в гарнизонном оркестре, так как имел аттестат об окончании музыкальной школы; после армии поступил в культпросветучилище в родном городе, на отделение духовых инструментов, по классу кларнета. Работал в оркестре городского музыкального театра, участвовал в джазовых коллективах, даже на фестивалях несколько раз выезжал. В двадцать шесть лет женился, в двадцать восемь родилась дочь, а в тридцать – сын. Получили трехкомнатную квартиру в новеньком тогда кирпичном доме. Теперь у детей тоже семья...

Когда в девяносто четвертом оркестр театра расформировали (в спектаклях использовать стали фонограмму), Юрий Андреевич устроился в училище, которое когда-то окончил, стал преподавателем игры на кларнете.

Единственный тяжелый период был, когда женился сын. Молодые отказались жить с родителями, и трехкомнатную квартиру пришлось разменять. Эти поиски подходящего варианта, конторы, тасканье мебели, обживание на новом месте выбили из колеи, начались конфликты с женой; однокомнатка, куда они переселились, казалась невыносимо тесной. Но прошло время, и все встало на свои места.

Пять дней в неделю Юрий Андреевич проводил на работе, проверял, как студенты разучили музыкальные пьесы, задавал разучивать новые. Показывал, как нужно играть. Первокурсники становились второкурсниками, второкурсники – третьекурсниками, потом выпускались. Почти ни о ком из них Юрий Андреевич после этого не слышал. Да и не старался следить за их судьбой – за одиннадцать лет его преподавания талантливых пока не встречалось, по-настоящему целеустремленных – тоже. Но в основном ребята были хорошие, интеллигентные – что ж, таким и простое умение сыграть «Лунный вальс» не помешает. Не всем же становиться виртуозами.

У Юрия Андреевича в классе висело несколько фотографий, где он был снят на всесоюзных и международных фестивалях. Когда-то повесил их, чтобы показывать ребятам, что их учеба здесь не такая уж пустая, что и они могут поехать, например, в Москву или в Петербург, или за границу даже, выйти на джем вместе с великими музыкантами, но мало кто обращал внимание на эти фотографии, и сам Юрий Андреевич часто и надолго о них забывал. Что-то висело на стенах и висело...

Джаз в их городе давно уже как-то заглох, в моде была другая музыка, на фестивали не приглашали, да и не слышно было о них. И, взглянув иногда на снимки, видел Юрий Андреевич потускневшие золотые надписи в уголках с названиями городов и датами фестивалей – «Паланга'84», «Москва'86», «Ленинград'87» – и становилось грустно: действительно, все это было где-то там, где-то в призрачном, полузабытом прошлом.

После занятий преподаватели с духового собирались в подсобке. Накрывали стол, помужски скромный, с вареной колбасой, черным хлебом, огурцами, луковицей, и распивали пару бутылок водки. Ни разу не допивались допьяна, ни разу никого не приходилось тащить домой, но после принятых под вечер – «с устатку» – двухсот граммов становилось странно легко и умиротворенно внутри. Гасилось то, что, кажется, тело в каждом из выпивающих эти спасительные граммы... Юрий Андреевич шел домой, тихонько улыбался, пальто было расстегнуто, родной город – небольшой и тихий, скучноватый – казался особенно дорогим, а прожитый день – прожитым нормально. По крайней мере, неплохо.

И однажды выпитого не хватило, чтобы загасить тление. Стало вспоминаться, ярко, с неожиданными подробностями, старое, вспыхивали в мозгу эпизоды, случаи, которые, казалось, стерлись из памяти, и другими, помолодевшими, с живыми глазами, увиделись сидящие за столом. Почти всех их Юрий Андреевич знал с юности, и у них была почти такая же судьба, как у него. Жизнь без встрясок и неожиданностей, но с еле заметным склоном, по которому они сейчас двигались, с каждым днем сползая все ниже и ниже... И ему захотелось предложить: «Слушайте, а давайте опять соберемся? Поиграем вместе. Жару дадим!..» Подмывало растормошить их и себя. Но, слава богу, сдержался. Он знал, что они гасят за этим столом, понимал, что им не собраться, не дать уже жару. Не стать такими же, как когда-то. И он увидел себя – полноватое рыхлое лицо пятидесятилетнего мужчины, несколько глубоких морщин на лбу и щеках, очки в громоздкой оправе, залысины, сдавленные тяжелыми веками глаза. Бесцветные глаза.

И по пути домой Юрий Андреевич пытался убедить себя, что все нормально, все у него неплохо сложилось. Была молодость, были кое-какие взлеты, его знают и уважают в музыкальном кругу их города, где-то, наверное, хранятся записи с его мелодиями. Но это не помогало, тление крепло, стало жечь. Юрий Андреевич даже остановился возле гастронома и несколько минут боролся с желанием войти и купить бутылочку, в прихожей сказать жене: «Давай-ка посидим сегодня». И в приятном вечере пережить неожиданный, редкий приступ тоски.

Не вошел, пересилил. А дома тоска притупилась сама собой, незаметно. Был вкусный ужин, был телевизор, интересные фильмы, а потом футбол по шестому каналу. Не важно, что повторяли вчерашнюю победу «Зенита» в одной восьмой Кубка УЕФА – матч был красивый, неожиданный, настоящий спектакль.

На другой день опять были занятия. В класс входили юноши с футлярами, собирали кларнеты, раскладывали на пюпитрах ноты, играли. Юрий Андреевич хвалил, указывал на ошибки, иногда брал свой инструмент, привычно сжимал губами мундштук, из глубины живота пускал вверх струю воздуха, закрывал пальцами нужные отверстия. А после занятий пошел в подсобку.

Он уверял себя, что вчера был случайный, короткий приступ. Из-за погоды, из-за каких-нибудь магнитных бурь, космических возмущений. Нет, оказывается, не прошло. Что-то там,

внутри его, постепенно росло, крепло, щекотало, жгло, не позволяя забываться, чувствовать себя хорошо, комфортно.

И как-то раз после занятий он остался в классе. Взял со стола кларнет, проверил камышинку в мундштуке, порастягивал губы и стал играть. Он не задумывался, что играет, ему важно было сейчас просто рождать звуки, соединять их между собой; и звуки, упругие, строгие, чистые звуки кларнета, плавно наполняли тесный класс для индивидуальных занятий. Звуки раздвигали его, украшали. А потом Юрий Андреевич прислушался к тому, что играет, и выдернул мундштук изо рта. Это была одна из пьес, которые он на протяжении десяти с лишним лет задавал ученикам.

Юрий Андреевич ужаснулся; ему показалось, что другое, не из программы, он уже никогда не сумеет сыграть – забыл, стер из памяти, отучил пальцы… Да нет, как это?! Что бы сыграть? Что сыграть?… Но ничего не приходило на ум, лишь тот обязательный, утвержденный в учебной части набор. И чтобы не отчаяться, не проклясть себя, он стал импровизировать. Пальцы бегали по инструменту, закрывая и открывая самые неожиданные отверстия и клапаны, правая нога начала отстукивать ритм, появилась мелодия сложная, необычная, с паузами, синкопами, с резкой сменой темпа. И словно бы со стороны, словно зритель, Юрий Андреевич следил за ней, удивляясь, что вот так, из ничего, из ниоткуда она появляется, собирается из пустоты; он боялся остановиться, вернуть мелодию в небытие.

В класс заглянул преподаватель трубы – наверное, заждались за столом, – несколько секунд изумленно и вроде даже со страхом смотрел на играющего Юрия Андреевича и закрыл дверь. А когда Юрий Андреевич в конце концов оторвался и пришел в подсобку, преподаватели уже выпили и закусили, как-то прохладно, как не со своим, попрощались с ним и разошлись. И Юрий Андреевич понял, что нарушил правило, не исполнил старинный и обязательный обряд.

С тех пор он не ходил принимать эти двести граммов, а играл. Играя долго, закрыв глаза, играл до тех пор, пока губы, устав, не размякали, пока пресс не начинало ломить, словно перезанимался гимнастикой… Мелодия была все та же, пришедшая тогда, но Юрий Андреевич исполнял ее каждый раз по-новому, украшая все новыми звуками, фразами, настроением. И мелодия сильнее и сильнее затягивала в себя, теребила, требуя, чтобы ее записали, облекли в форму нот.

И вот наступил момент, когда он уже не в силах был этому сопротивляться, удерживать – в конце концов прокололо.

Спал, понимая, что спит, помня, что нужно проснуться пораньше и сесть. И ему виделось, как он поднимается, торопливо освежает лицо холодной водой, достает бумагу, готовит кофе, устраивается за столом на кухне и пишет… Когда-то он сочинял музыку, считался основным мелодистом в их джазовом ансамбле, но это было давно, так давно, что казалось почти и не бывшим на самом деле… Нет, было – остались фотографии, в серванте хранятся почетные грамоты лауреата…

Юрий Андреевич открыл глаза, надел очки, взял будильник с тумбочки. Светящиеся зеленоватые стрелки показывали без четверти шесть. Самое время. Отлично!

Осторожно, чтоб не разбудить жену, он сполз с дивана, снял висящую на спинке стула одежду. Сунул ноги в тапки. Прошел в ванную. Оделся. Включил воду, умылся, почистил зубы… Давно не чувствовал себя таким бодрым. Вот бы каждое утро так, а то ведь… Даже и не вспомнишь, что там бывает по утрам, – автоматический набор операций. В выходные – тщетное желание выспаться. Хм! Ведь доказано, что чрезмерный сон только вредит. Проспишь лишнее, и потом весь день как вареный. Все великие спали по пять-шесть часов и столько всего успели.

Распаляя себя такими мыслями, Юрий Андреевич вошел на кухню. Взял чайник, чтоб наполнить водой. Из раковины поднялись тучкой мошки, несколько, как сухие снежинки в ветер, ткнулись в лицо. Одна попала в нос.

– Да что ж ты! – Досадливо морщась, Юрий Андреевич стал выдувать ее, кашлял, отхаркивался…

Эти мошки завелись, скорее всего, из-за рассады на подоконнике. Жена с месяцем назад посеяла в ящиках помидоры, перец, и вот с тех пор донимали мошки. В земле, что ли, перезимовали? Землю Юрий Андреевич привез замерзшей с дачи, еще осенью набрал два пакета.

Кажется, избавился. Продышался. Налил в чайник воды, поставил кипятиться. Мошки кружились над столом, над хлебницей. Обычно Юрий Андреевич и не замечал их, а тут понял: они не дадут работать. Замучают.

И стал ловить, давить между пальцев, прихлопывать ладонями. Вспомнил, что может хлопками жену разбудить, закрыл дверь. Продолжил охоту. Увлекся. Помахивал над ящиками рукой, и когда мошки взлетали из зарослей рассады – хлопал их, хлопал, гонялся по кухне…

Щелкнул чайник, вскипев. Юрий Андреевич заварил чашку «Нескафе». Огляделся. Можек не было – то ли действительно всех перебил, то ли попрятались. Ну, можно приступить.

Пошел в комнату за бумагой.

– Юр, сколько времени? – неприятный со сна, хрипловатый голос жены.

– Шесть.

– Шесть часов? А что не спишь?

– Да тут мне… – Юрию Андреевичу почему-то стало неловко. – Надо тут…

– Что случилось?

– Ну… Поработать мне надо.

– Сегодня суббота ведь.

– Над своим… для себя поработать. Спи, пожалуйста.

Взял папку и вышел. Плотно закрыл дверь в комнату. Плотно закрыл дверь на кухню. Сел. Достал бумагу.

– Та-ак, – сладковато выдохнул и тут же плонул: – Тыфу ты! – вспомнил, что забыл ручку.

Опять идти в комнату? Бродить, как лунатику, копаться в серванте, жену раздражать?… Встал, поискав на холодильнике, потом в ящике кухонного стола. Смятые целлофановые мешочки, консервный нож, скотч, изломанные свечки для торта, какие-то таблетки… Есть, слава богу. Попробовал, как пишет. Ручка писала. Хорошо…

Устроился на табуретке. Отпил кофе. Горький. Добавил сахара, тщательно размешал. Попробовал. Как раз… Протер очки чистым полотенцем. Смотрел на бумагу, на тонкие полоски нотного стана. Почему-то стало не по себе. Стало боязно прикоснуться к нему ручкой, замарать эту чистоту, нарушить порядок. И мелодия, которую столько дней повторял в классе, бормотал по дороге на работу и с работы, сейчас перестала звучать. Затаилась, спряталась, точно бы тоже испугалась.

Юрий Андреевич поднял чашку, сделал несколько быстрых глотков. Ждал, что сейчас мелодия оживет, зазвучит, начнет легко превращаться в ноты… Сейчас бы кларнет. Казалось, простого прикосновения к нему будет достаточно, чтобы вспомнить и записать.

Его рабочий кларнет был на работе («Глупо, глупо, конечно, в такие дни расставаться с инструментом!»), но дома хранился еще один. Старенький, простенький, на котором Юрий Андреевич играл студентом. Уже лет двадцать он не открывал футляр, лишь иногда замечал его, ища что-нибудь в нижних ящиках серванта… Что, сходить? Рыться, шуршать, жену будить?… Да и что можно сыграть на нем? Там уже, наверное, камышинка в прах рассыпалась.

– О-ох-х-о-х, – вздохнул Юрий Андреевич.

Поднялся, прошелся по кухне. За окном почти рассвело. Тонкие ростки помидоров были наклонены в одну сторону – к стеклу, к солнцу. Лишь два стояли прямо… Хм, тоже ведь…

Почему эти не подались с остальными? Чем объяснить? И ведь не сбоку растут где-нибудь, не в тени безнадежной, а почти в центре ящика. Не хотят кланяться.

Юрий Андреевич еще раз добродушно усмехнулся, придумывая росткам подходящий термин. На языке вертелось только «протестанты», но оно не подходило. «Протестанты – это другое...»

– Нонконформисты, – нашел наконец, вслух с удовольствием произнес; стало повеселей, полегче.

Повернулся к окну спиной, увидел стол, бумагу и ручку на нем. Сел и решительно начал записывать, бормоча нечто похожее на свою мелодию.

Отвыкшие пальцы нечетко ставили нотные знаки, ошибались в тональности, не успевали за бормотанием... Юрий Андреевич остановился, отвел взгляд от бумаги. Отпил кофе. Постарался забыть о звуках, а потом прочитал написанное.

Нет, это было совсем, совершенно не то. Галиматья какая-то получилась, невразумительный, беспорядочный набор закорючек. И Юрий Андреевич зачеркнул. Посидел и жирно застриховал.

Глотнул кофе, поставил скрипичный ключ и начал снова. Но темно-синее пятно лезло в глаза, отвлекало, злило. Юрий Андреевич скомкал лист, не вставая, дотянулся до дверцы под раковиной. Открыл, бросил в ведро.

Комок мягко ударился обо что-то и выкатился на пол.

– Ч-черт! – пришлось встать, поднять бумагу.

Хотел положить в ведро, но увидел, что там мусора с горкой. Не вынесли вчера... Впихнул комок между банкой из-под горошка и черно-желтой шкуркой банана. Сел обратно. Решительно сжал пальцами ручку. И, уже готовясь записывать, понял, что вот так может перепортить всю стопку. Нужно успокоиться. Отвлечься... Мусор хотя бы вынести... Заодно и прогуляется, кислородом подышит.

Снова подошел к окну, посмотрел на термометр. Плюс четыре. Отлично для конца марта. Совсем весна... Можно уже вишни, сливы на даче распаковывать, а то ведь запретят. Завтра съездит, скорее всего, посмотрит. Больших-то морозов быть не должно. И машину навоза надо для парника заказать. Сколько он стоит, интересно, в этом году?...

«О чем я думаю? Господи! – вдруг с негодованием опомнился. – Я же не для этого встал! Я же...» И захотелось сейчас же побежать в училище, взять кларнет и начать играть. И после каждой сыгранной фразы записывать. Ведь нельзя так оставлять, не просто же так пришла эта мелодия и столько дней не отпускает. Столько дней мучает и ласкает. Надо зафиксировать... Надо прогуляться по крайней мере. Подышать. Подумать. Вспомнить... Да.

Юрий Андреевич взял ведро, обулся, накинул пальто. Осторожно, стараясь не шуметь, вышел в подъезд. Замкнул дверь.

Контейнеры находились на краю двора. И шел Юрий Андреевич медленно, глубоко вдыхая свежий, вкусный запах оттаивающей земли, прошлогодних палых листьев... На одном из тополей, ничем не отличающемся от десятка других, шумно ругались, перескакивая с ветки на ветку, воробы. Юрий Андреевич приостановился, смотрел, слушал. «Почему именно на этом дереве расчирикались? – опять задумался. – Как объяснить? И ведь не перелетают, на этом только мечутся. Интересно».

Улыбаясь своим вопросам к кому-то высшему, кто все знает и все так устроил, Юрий Андреевич пошел дальше.

– Ла-адно, – успокаивал себя. – Все будет нормально...

И замычал подобие мелодии.

– А я тебя потеряла совсем! – встретила жена в прихожей. – Думала, сбежал куда-то. Потом только увидела, что ведра нет.

– Да вот, решил вынести…

Жена готовила кофе, папку сдвинула на край стола.

Юрий Андреевич поставил ведро на место, вымыл руки, унес папку в комнату. Положил на шкаф. Вернулся на кухню.

– Ты еще будешь ложиться? – спросил.

– Да нет, какое уже… Сегодня дел полно.

– Каких дел?

– Я вчера забыла сказать, – жена попробовала кофе, удовлетворенно причмокнула. – Саша помочь просил. Они пианино для Аленки купили.

– М-м? Молодцы.

– Подержанное, за две тысячи всего. Надо перевезти. Поможешь?

– Ну, само собой. Что ж… Конечно… А во сколько?

– Они позвонят, сказали.

Юрий Андреевич пошел в комнату, стал складывать диван.

– Что на завтрак-то сделать? – крикнула жена.

– Да-а… – Юрий Андреевич поморщился; почему-то противно было думать сейчас о еде. – Что хочешь.

Взял папку, сел на диван. Замурлыкал, заурчал, постукивал ручкой по бумаге, стараясь оживить, снова превратить мелодию в звуки, чтобы потом облечь звуки в ноты.

Не получалось. И Юрий Андреевич, не выдержав, стал искать кларнет в серванте.

Пакеты с какой-то одеждой, спутанная елочная гирлянда, коробка со смесителем для ванны, не влезшие на полки книги…

– Что ищешь, Юр? – голос жены слева и сверху.

– Да кларнет.

– Он же у тебя на работе.

– Не тот… Другой… Старый свой.

– Гм… Не помню.

Жена понаблюдала, следя за растущим беспорядком в ящиках и на полу. Потом спросила:

– А зачем тебе?… А? Юр?

Юрий Андреевич промолчал, продолжал ворошить разный, совсем ненужный, лишний сейчас хлам.

– Юра-а, – голос жены стал настойчивее, – ты меня слышишь?

– Слышу я, слышу!

– А что случилось-то все-таки? Почему ты в таком состоянии?

Юрий Андреевич поднялся с корточек.

– Извини… Мне нужен кларнет. Могу я его найти?

Жена молча пожала плечами и ушла на кухню. Через минуту холодно, отчетливо сообщила:

– Завтрак готов.

Ели молча. Резко, раздражающие звякали, скребли о тарелки ножи и вилки, как-то тошнотворно булькала вода из чайника в чашки.

– Завтра думаю на дачу съездить, – наконец сказал Юрий Андреевич. – Деревца пора распаковывать, морозов, наверно…

– Поехали вместе, – перебила жена.

– Поехали.

Жена смотрела на него враждебно.

– Что? – готовясь к выяснению отношений, произнес Юрий Андреевич.

– Я просто спросить хочу…

– Что?

– Хочу спросить: почему ты меня… почему ты меня замечать совсем перестал?

– В смысле? Как это перестал?

– Так. Очень просто – перестал, и все. У меня чувство такое, что я не живу уже, а так… доживаю. Что все уже. Что мне и ждать уже нечего… Не женщина я уже, а… А ведь…

– Ну не надо, – поморщился Юрий Андреевич, чувствуя досаду и на жену, что именно сегодня вдруг начала, и на себя, что действительно мало о жене заботится, мало уделяет внимания. Он часто задумывался об этом, часто, возвращаясь с работы, хотелось купить ей цветы или зайти в ювелирный и выбрать какое-нибудь кольцо или серьги, но останавливал себя, вспоминал, что с деньгами у них туговато, а роза – это сто рублей, кольцо – минимум триста… Но сам понимал: не в деньгах дело. Дело в том, что он боится сделать неожиданное, и предположил два раза в месяц отдавать жене аванс и зарплату «на домашние расходы».

И сейчас, он знал: стоит сказать, что у него родилась мелодия, в кои веки родилась, и нужно ее записать, а это трудно, очень трудно – и жена сразу успокоится и сделает все, чтобы он записал, она будет оберегать его, помогать ему тем, что станет незаметной, невидимой. Ведь она должна помнить, как когда-то он радовался новым сочетаниям звуков, тонов, новому ритму, должна помнить их поездки на фестиваль в Палангу – ведь это было их настоящим свадебным путешествием, хотя и произошло через полтора года после свадьбы. И там звучали его, им сочиненные, темы. И огромный зал аплодировал… Но почему-то Юрий Андреевич не говорил, не признавался, а сидел и мрачнел.

Насупленные, сердитые, разошлись. Точнее – расходиться было некуда – сидели в одной комнате и смотрели телевизор. Но сидели не как обычно, рядом на диване, а порознь, в разных углах. По телевизору крутили сериалы и развлекательные программы, повторялась знакомая до последней мелочи реклама порошков, кремов, чистой воды, лекарств. Были выпуски новостей: в мире беспорядки, конфликты, новые очаги птичьего гриппа…

Юрий Андреевич смотрел в экран с ненавистью и отвращением и физически чувствовал, как летят минуты, как утекает, сокращается жизнь. Его жизнь. Потом резко поднялся и продолжил искать кларнет. Спину кололо от взглядов жены. «Пускай злитя, – подумалось со странной, какой-то детской радостью. – Порядок, видишь ли, нарушаю. Стоило зашевелиться, и сразу распыхалась».

Наконец увидел знакомый, серой кожи, футляр. Он лежал под целлофановым мешочком с письмами. Вынул письма, машинально глянул, узнал свой почерк, прочитал строчку: «Утро сегодня было особенно холодным, но я согрел его во время зарядки».

– Положи, пожалуйста, – строго сказала жена. – Это мои письма.

– Тут мой почерк…

– И что?

– Да нет, ничего. – Он отложил пакет.

Конечно, сразу вспомнил, когда и где написал про холодное утро и зарядку. В восемьдесят седьмом их театр гастролировал по области. Гастроли были долгими, почти месяц, и Юрий Андреевич каждый день отправлял письма жене. Четыре страницы из школьной тетради убогистым почерком…

С футляром в руках ушел на кухню. Кнопки пришлось расстегивать с помощью ножа. То ли приржавели, то ли срослись от старости. Внутри футляра пахло чем-то кислым, прелым, как из погреба на даче после зимы.

Осторожно, будто музейный экспонат, Юрий Андреевич достал кларнет, соединил его части. В боковом кармашке нашел несколько камышинок. Пересохшие, конечно, ломкие, непригодные для серьезной игры, но для его сегодняшнего дела, наверное, подойдут. Ему-то всего-навсего нужно услышать несколько фраз мелодии, уловить тональность, чтобы начать записывать.

Закрепил наиболее подходящую камышинку в мундштуке, пощелкал клапанами. Не западают. Хорошо... Действительно хорошо, судя по всему, инструмент сохранился. Еще бы играл...

Юрий Андреевич пожевал губы, подвигал скулами, несколько раз глубоко, до низа живота, вздохнул и, слегка брезгливо, как чужой, обнял губами мундштук... Подождал, настраиваясь, боясь первого звука, но решился, плавно толкнул из себя воздух. И klarinet ожи...

Играть старался тихо, чтобы не мешать жене; играл не совсем то, что хотел, не так, как у себя в классе по вечерам. Сейчас он привыкал к родному когда-то инструменту, вспоминал его, согревал своим дыханием, разминал клапаны... Камышинка была слишком твердой, плохо выбрировала, и Юрий Андреевич не решался делать сложные переходы, боясь пустить петуха... Да, он привыкал к инструменту и давал время инструменту привыкнуть к себе.

— Юра, — вошла жена, — Саша звонил.

Юрий Андреевич вынул мундштук. Слушал.

— Просил вот по этому адресу подойти. Здесь недалеко, — протянула бумажку.

Он посмотрел адрес, кивнул:

— Да, два квартала... Сейчас прямо?

— Сейчас.

— Понятно, — Юрий Андреевич покрутил инструмент в руках и стал его разбирать. — Вместе пойдем?

— Нет, я останусь. Обед надо готовить. К поездке собраться.

— К какой поездке?

Жена удивленно подняла брови:

— Мы же на дачу, кажется, собирались.

— А! Ну да, да... Видишь, склероз наступает, — Юрий Андреевич улыбнулся.

И жена улыбнулась, тоже попыталась пошутить:

— Я йоду сегодня наварю, для укрепления памяти. И рыбьего жира куплю на обед.

Хорошо?

— Да, дорогая. Я на все согласен.

Захотелось обнять ее, сказать беззаботно: «Да брось ты с обедом, со всем! Сегодня в ресторан пойдем».

— Серьезно, что приготовить? — спросила жена.

Юрий Андреевич чуть было не пожал по привычке плечами, но вовремя спохватился.

И предложил:

— Может, борща? Такого, пожирней. Мясо-то есть?

— Даже кость есть мозговая! Специально приберегла.

— Вот, отличненько! После тасканья пианино самое то...

Он закрыл футляр, отнес в комнату. Положил на папку с нотной бумагой. Стал одеваться. И каждое движение сейчас совершил осмысленно, отмечал его, чувствовал мышцы и жилы, готовясь к физической нагрузке... Когда-то он занимался боксом, легкой атлетикой, неплохо плавал. Лет в тридцать пять забросил. Зря, конечно. С тех пор и началось постепенное увядание, убавление энергии. Может, пробежки по утрам устроить? Дворы у них тут тихие, ровные... Хотя ведь дача скоро, не до пробежек будет.

Но физических нагрузок сегодня принимать не пришлось. Муж дочери Борис, предприниматель, узнав про перевоз пианино, решил помочь родне, нанял шестерых грузчиков, грузовую «Газель». Так что Юрию Андреевичу оставалось наблюдать, волноваться, чтобы не поцарапали лакированную стенку инструмента, чтобы не покатился он по лестнице, кому из грузчиков руку не прищемило.

Борис и сын Саша были тут же, тоже наблюдали и волновались; Борис время от времени руководил. Он владел тремя интернет-кафе, имел несколько киосков с музыкальными дисками. Жил не сказать чтобы богато, но ездил на редкой в их городе «Вольво», двухкомнатную квартиру недавно сменил на четырехкомнатную. Зато и детей у них со Светланой было уже трое. И, что интересно, даже после рождения третьего Светлана сохраняла фигуру и свежесть, девическую веселость. Не то что большинство других, кого и рождение одного превращает в непонятное бесформенное существо... Нет, достаток в семье все-таки великое дело.

И Юрий Андреевич больше сейчас поглядывал на Бориса, чем на сына. Нравились ему в Борисе уверенная осанка, бодрость, активность. Сын же – парень, конечно, отличный, но вяловатый, словно бы вечно невыспавшийся. Окончил политехнический институт, а работает водителем троллейбуса. Места по специальности найти не может. Или не особенно хочет.

Перевезли пианино быстро – за полтора часа. Поставили в большой комнате; пятилетняя внучка тут же стала стучать по клaviшам. Невестка Тамара пригласила мужчин поесть.

– Во, это правильно! – хлопнул в ладони Борис. – Нужно бы после трудов таких и не только поесть, – подмигнул Юрию Андреевичу и Саше. – Сообразим?

– У меня есть бутылка, – без особого энтузиазма сказал Саша. – Давайте.

Юрий Андреевич позвонил жене, сообщил, сделав голос усталым:

– Ну, закончили. Все нормально. Аленка шпарит уже. Я посижу тут, Борис приехал как раз...

Жена разрешила. Так что можно было и выпить, не дергаясь, с чистой совестью.

Нечасто в последнее время получалось общаться с детьми, внуками, с невесткой и зятем, хотя и жили все поблизости. Но на большие праздники все-таки собирались вместе, составляли в зале столы, приносили с собой кто соленья, кто торт, кто тушеного кролика. Хорошо сидели, подолгу, пели те же песни, что когда-то пели и родители Юрия Андреевича, и его жены, родители невестки и зятя – про степь, про мороз, про девушку, которая полюбила женатого...

Сейчас же уместились за маленьким кухонным столом между холодильником и тумбочкой, и действительно, будто после тяжелой работы, выпивали, с аппетитом закусывали.

– Как дела-то, Юрий Андреич? – наполняя в очередной раз граненые рюмочки, спросил Борис. – Там же все? Учите?

– Конечно, – вроде бы бодро ответил Юрий Андреевич, но услышал в этом ответе какую-то безысходность и потому, чтоб заглушить ее, добавил: – Интересная мелодия тут пришла в голову. Думаю записать.

– Музыка в смысле? – заинтересовался зять.

– Ну да... Джазовая тема.

Сын уважительно мыкнул, поднял рюмку:

– За удачу!

– Точно, за нее! – поддержал Борис. – Я всегда... – И, выпив, закусив соленой капустой, продолжил: – Я всегда в этом плане завидую. Очень правильно, когда человек кроме работы еще чем-то таким занимается. Или спорт, или театр, музыка. Молодец вы, Юрий Андреич.

– Да я сто лет не сочинял, – словно оправдываясь, усмехнулся он, – само вдруг. А, ладно, мелочи это.

– Какие же мелочи? Вы чего? – Борис встрепенулся. – Это-то и не мелочи как раз! Вся эта необходимость, из которой жизнь состоит, – мелочи. И большинство так и проживает – на мелочах. А нужно, чтоб еще что-то было. Вот я узнал, что Саня пианино купил, и примчался. Ведь это же!.. – Он кивнул на бутылку. – Сань, расплескай... Это же... Знаете, я только недавно стал соображать насчет этого. Когда своих ребятишек наделал. И – думаю: что их ждет? Что с ними будет, если вот так будут расти? Как эти... Как трава.

Юрий Андреевич сначала был категорически против, чтобы дочь выходила за Бориса. Коренастый, почти квадратный, вечно в черной кожаной куртке, короткие волосы, с запястья

свисает пузатая сумочка, разговаривает мыккая-пыккая, и голос – будто вечно простужен. Напоминал он нового русского из анекдотов. Но ухаживал за Светланкой долго, серьезно, как-то церемонно даже. И однажды приехал со своими родителями свататься. Дочь давно давала понять, что любит Бориса, и Юрий Андреевич с женой, пораженные этим визитом, старомодным обрядом, легко дали согласие. И раскаиваться не приходилось. Тыфу-тыфу-тыфу, чтоб не сглазить...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочтите эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.